

ВОЕННЫЕ МЕМУАРЫ

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

Походные записки русского офицера



• КЛУЧКОВО ПОЛЕ •

Иван Лажечников. Походные записки русского офицера //Кучково поле,
Евробонд, Москва, 2013
ISBN: 978-5-9950-0329-8
FB2: Denis, 22 January 2016, version 1.0
UUID: ed38241d-c68e-11e5-b9e6-0cc47a520474
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Иванович Лажечников

Походные записки русского офицера

(Военные мемуары (Кучково поле))

Иван Иванович Лажечников (1792–1869) широко известен как исторический романист. Однако он мало известен, как военный мемуарист. А ведь литературную славу ему принесло первое крупное произведение «Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814 и 1815 годов», которые отличаются высоким патриотическим пафосом и взглядом на Отечественную войну как на общенародное дело, а не как на «историю генералов 1812 года».

Сожженная и опустевшая Москва, разрушенный Кремль, преследование русскими отступающей неприятельской армии, голодавшие и замерзавшие французы, ночные бивуаки, офицерские разговоры, картины заграничной жизни живо и ярко предстают со страниц «Походных записок». Перед читателем встает и фигура самого автора, который «месил снежные сугробы литовские, спотыкаясь о замерзшие группы, при жестоких морозах, захватывавших дыхание, в походной шинели, сквозь которую ветер дул, как сквозь сетку решета», и писал свои записки «при свете

бивуачных костров, на барабанах и нередко при шуме идущего рядом войска».

Содержание

#1	0008
#2	0009
Предисловие	0012
1812	0014
С. Кривякино, 20 сентября	0014
На Мячковском кургане, 12 октября	0016
Москва, у Кремля, 13 октября	0018
С. Троицкое, под Москвой, 15 октября	0022
Москва, 18 октября	0032
С. Хатунь, 20 октября	0034
Г. Калуга, 26 октября	0037
Рославль, 10 ноября	0044
Местечко Шклов, 11 ноября	0052
Г. Борисов, 14 ноября	0054
Г. Минск, 20 ноября	0058
Зеленая корчма под Вильной, 1 декабря	0059
Г. Вильна, 12 декабря	0064
Там же, 14 декабря	0068
16 декабря	0070
Вильна, 18 декабря	0072
19 декабря	0075
20 декабря	0077
Вильна, 22 декабря	0084
24 декабря	0086
1813	0088

М. Меречь, 1 января	0088
М. Лик, 9 января	0091
Иогансбург, январь	0095
Цеханов, январь	0099
Плоцк, 30 января	0101
Деревня Здворж, 3 февраля	0104
Д. Здворж, 5 февраля	0106
Г. Калиш, 12 февраля	0108
Там же, 15 февраля	0109
Г. Калиш, 12 марта	0112
Г. Познань. 14 марта	0113
Штернберг, 15 марта	0117
Франкфурт-на-Одере, 16 марта	0119
Деревня Фогельсдорф, 17 марта	0121
Берлин, 18 марта	0123
Там же, 19 марта	0130
Рупин, 20 марта	0135
Перлеберг, 21 марта	0136
М. Лудвигслуст, 25 марта	0138
Там же, 29 марта	0141
Лудвигслуст, 30 марта	0144
Г. Шверин, 3 апреля	0150
Новый Штрелиц, 6 апреля	0156
25 апреля	0163
Бивуаки под Швейдницею, 16 мая	0167
Г. Нимч в Шлезии, 10 июля	0171
Г. Нимчь, 20 июля	0181
13 июля 1812 года	0188

Лаун, в Богемии, 22 августа	0191
15-го числа	0192
Лаун, 23 августа	0194
17 августа	0195
1814	0201
На высотах Монмартра, 6 часов пополудни 18 марта	0201
Бельвиль, 7 часов утра 19 марта	0208
Париж, 6 часов пополудни 19 марта	0214
Там же, 20 марта поутру	0226
Там же, 21 марта в 12 часов ночи	0231
Страсбург, 12 июня	0239
Потсдам, 16 июля	0247
Там же	0252
1815	0262
Г. Дерпт, 9 марта	0262
Г. Дерпт, 12 марта	0267
Г. Дерпт, 25 марта	0279
Г. Вейстфальс, 16 июня	0279
Эйзенах, 22 июня	0284
Г. Фульда, 24 июня	0294
20 июня	0296
Майнц, 30 июня	0298
Лагерь близ Вертю, у деревни Вилье, 31 августа	0304
Веймар, 12 октября	0312

Иван Лажечников

Походные записки русского офицера

...И наш век произвел также добродетели и дарования, достойные подражания потомства!

К. Тацит, Лет. Кн. III

© Кучково поле, 2013
* * *

*ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ ГОСУДАРЫНЕ
ЕЛИСАВЕТЕ АЛЕКСЕЕВНЕ*

Всемилоостивейшая гсударыня!

Описание некоторых подвигов Российского Монарха и народа Его в славнейшую брань за свободу Европы: описание, сделанное мной между путевыми наблюдениями, осмеливаюсь повергнуть к стопам Вашим, Всемилоостивейшая Государыня! ибо кому ближе принадлежат оно может, как не Супруге Великого Монарха и Матери народа Русского

Всемилоостивейшая Государыня!

Вашего Императорского Величества

20 октября 182 °С.-Петербург

Верноподданный Иван Лажечников

А) Список с рескрипта к генерал-лейтенанту графу Остерману.

Граф Александр Иванович! Поднесенный вам от Богемских жителей кубок, украшенный разными сея земли камнями, есть приятное для Отечества Нашего свидетельство чистосердечной благодарности сего народа за от-

вращение от него опасности бес-
смертным при Кульме подвигом Рос-
сийской Гвардии. Я в полной мере обод-
ряю испрашиваемое вами в письме ва-
шем распоряжение о сем кубке; но не
могу оставить без замечания, что вы,
отдавая должную справедливость
участвовавшим в сем знаменитом
сражении воинам, забыли себя, тогда
когда вы в оном предводительствова-
ли и потерянием руки своей купили по-
беду – обстоятельство, умолченное
вашей скромностью, но незабвенное
Отечеством, и которое, конечно, не
престанет твердиться в устах
потомства! Пребываю вам благо-
склонный

Александр

21 февраля 1817

С.-Петербург

Б) Сколько лет тому назад знамени-
тый Делиль предсказывал возведение
Лудовика на трон отцов его рукой мо-
нарха Российского! Само Провидение,
кажется, вдохнуло в него дух прорица-
ния, когда он писал следующее место в
своей поэме de la Pitié:

*Jeune et digne héritier de l'Empire des
Czars!
Sur toi le monde entier a fixé ses
regards*

и проч.

*Souviens-toi de ton nom: Alexandre
autrefois
Fit monter un viellard sur le trône
des Rois:
Sur le front de Louis tu mettras la
couronne.
Le scèptre le plus beau c'est celui que
l'on donne.*

Предисловие

Издавая ныне мои записки, стал бы я напрасно, в извинение их неисправностей, представлять, что я писал их на походах, при свете бивуачных костров, на барабанах и нередко на коне, при шуме идущего рядом со мной войска. Все это могло служить оправданием тем сочинителям, которые, так сказать, на горячем следу прошедшей войны издавали свои походные замечания. В четыре мирные года должен я был иметь время исправить погрешности моего творения; и если читатели сделают над ним строгий приговор, то виноват один автор, а не обстоятельства. В утешение себя и в облегчение страха, который чувствует издатель, готовясь предстать перед общим судом, скажу, что большая часть моих записок помещена была в известнейших наших журналах и что они заслужили одобрение многих почтенных литераторов. Осталось мне сожалеть (может быть, одному мне) о невозвратной потере, которую я сделал, лишившись, во время курьерской поездки 1817 года, целой огромной тетради с поход-

ными записками. Ныне издаю только уцелевшие от этого кораблекрушения, и потому с 16 мая 1813 года предлагаются они отрывками. Сначала думал я заменить мою потерю, приняв написать новые записки в кабинете моем; но память мне изменяла, и для того вынужден я был расстаться с начатым трудом. Еще должен я предупредить читателя, чтобы он не ожидал найти в этой книге подробное описание маршей и сражений, тактические замечания и наблюдения, одним словом, полные источники для бытописателя прошедшей кампании. Автор не посвящал себя совершенно военному делу и для того не принимал на себя труднейших обязанностей военного историка. Он издает ныне свои записки в виде замечаний простого походного наблюдателя, описывавшего единственно то, что было близко к нему, что он видел, слышал достойного примечания и что находил в кругу своем великого и прекрасного в подвигах русского гражданина и воина.

С. Кривякино. 20 сентября

Случалось ли вам видеть дитя, приговоренное стоять в мрачном углу комнаты в то время, когда роковой час, назначенный для окончания трудов учебных, ударил в кругу товарищей его и возвестил сердцам их благословенную свободу? Умолкли грома, поражавшие их в высоте кафедры, исчезли из виду почтенный черный кафтан и высокоумный парик, даже шарканье грозного школьного властелина не отдается более в длинных переходах. Золотая свобода! – восклицают юные мудрецы и летят срывать венки с величавых соперников и созидать новые царства на горах Воробьевых...

Итак, видите ли это дитя, стоящее в мрачном углу опустевшей комнаты? Взоры его обращены на роковую дверь, откуда товарищи его устремились пожинать лавры бессмертия, частые вздохи волнуют грудь его, и слезы струятся по розовым щекам несчастного. Но

вдруг сверкнула перед ним мысль о свободе первого человека. Он гордо поднимает голову, сердце его бьется сильнее – и тяжкие узы для него более не существуют, и грозная темница его не ужасает! Он уже с копьем в руках внезапно является в рядах Беллоны, мешают крик победы с криком сражающихся, получает тяжелые раны и уносится на плащ... (вы ожидаете великого явления?) в дом родительский, где готовятся для него свежие лавры, растущие в садах столицы – рядом со смиренной липой. Тут занавес опускается... Жаль мне героя моего, очень жаль! Кто, подобно ему, не любит золотой свободы? Кто для любви к себе не дитя в мире сем? И я во всем сходен с сим слабым, бедным творением!.. Браните меня, как вам угодно, друзья мои! Бросайте на меня все стрелы Сервантовы: я не отражаю их; но спокойно, как новый рыцарь печального образа, от мирных полей и уединенной хижины, бегу искать славных происшествий и – если должно – сражаться даже с мельницами! Меч гремит на бедре моем и возвещает мне время явиться на поля славы. Тройка коней, приведенных из русской Фра-

кии или просто с берегов Дона, роет снежные бугры с нетерпения отвезть нового сына Марсова к нежному его родителю. Но слезы родных, бесценных сердцу, велят еще сказать им роковое: прости! Прощайте, друзья мои! Прощайте, мои милые! Удастаивайте иногда воспоминанием того, который так неожиданно покинул родные поля и тихий кров отеческий, оставил все приюты любви и дружбы и, что еще неблагодарнее, умел так скоро расстаться с вами, бесценные мои!

На Мячковском кургане, 12 октября

Никогда не проезжаю Мячковского кургана без того, чтобы не взойти на него. Бывало, в красные дни природы и моей родины останавливался я здесь любоваться прелестными видами. Тогда все восхищало меня: и светлая в извилинах Москва-река, многочисленными судами покрытая, и селения, на живописных ее берегах расположенные, и расписные, пестрые луга с озерами своими, и белые известковые горы, вечно дымящиеся наподобие маленьких Везувиев. Тогда любил по целым часам взорами и сердцем бродить с возвыше-

ний, одетых цветными коврами, на пригорки, далеко золото жатв разливающие, – из Мячкова, господствующего над мрачными лесами, в живописное Быково, собой в водах красующееся, – и, наконец, в туманном сизом отдалении искать Москвы белокаменной. Ныне, когда пожары войны пылают еще на родном небосклоне, когда природа и люди унылы, прихожу сюда внимать бурям осенним и смотреть, как черные тучи несутся над головой моей, как вихорь роет желтые листья и мчит их по крутому берегу. Смерть и разрушение починут на холмах могильных, печальна окрестность, мрачна и душа моя! Без риторической фигуры можно, конечно, сказать, что всякая высота возвышает чувства и мысли. Стою на гордом кургане и повторяю за прекрасным певцом его:

*Сюда приди, о, Росс, свой сан и
долг узнать!*

Никогда не чувствовал я так сильно красоты сего изречения, как теперь, стоя на сей величественной насыпи, которой святыню берегли веки; на сем памятнике славы наших

предков и могил храбрых. Так, на сем знаменитом холме, клянусь прахом отцов моих и тобой, родина священная! клянусь, что честь и Отечество будут везде моими спутниками, и если изгоню их когда-нибудь из моего сердца, если забуду их в пылу битв и мирных хижинах, то пусть недостоин буду имени русского, пускай все милое мне и Бог меня забудут!

Москва, у Кремля, 13 октября

«Э то ли столица белокаменная? – спрашивал я себя со вздохом, подъезжая к Москве. – Где золотые куполы церквей, венчавшие царицу городов русских? Где высокие палаты, украшение и гордость ее? Один Иван Великий печально возносится над обширной грудой развалин, только одинокие колокольни и дома с мрачным клеймом пожаров кое-где показываются. Быстро промчалась буря разрушения над стенами московскими, но глубоки следы, ею оставленные!» Подъезжаю к Таганской заставе. Мрак вечерний начинал спускаться над окружностью, чувства уныния и ужаса возрастали более и более в душе мо-

ей. Близ караульни показался огонек, затмеваемый бродящими людьми. Въезжаю в заставу и нахожу изюмских гусар, расположенных около нее бивуаками. Схожу с повозки, иду далее по улицам и не узнаю их. Здесь стоят стены без кровель и церкви обезглавленные, там возносятся одинокие трубы, тут лежат одни пепелища домов, еще дымящиеся и наполняющие улицы тяжелым смрадом: везде следы опустошения; везде памятники злодеяний врагов и предметы к оживлению мщения нашего! Ужасно воет ветер, пролетая сквозь окна и двери опустошенных домов, или стонет совой, шевеля железные листы, отрывки кровель. Вокруг меня мрак и тишина могил! Только инде, под мрачными сводами, трепещет огонек у пустынного сторожа развалин; кое-где слабый голос выносится из погребов или слышен в шалашах робкий шепот. Иду по улицам, кажется, совсем незнакомым – ни одно живое существо не попадается мне навстречу, иду и спотыкаюсь о мертвую лошадь!.. Давно ли рои народа кипели и шум не молк в стенах Москвы? Давно ли по этой улице в богатых экипажах встречались сыны

фортуны и мчались из жилища рассеяния в обитель моды? Не в этом ли доме, за три месяца перед сим, толпа рабов поклонялась набитому червонцами мешку или старому пергаменту? Не в том ли имущество, здоровье и самая жизнь полагались на одну роковую карту? Не здесь ли роскошь на счет тысячи ближних собирала дань со всех частей света, чтобы угостить могущество одного? Здесь зарывал скупец свое золото, сюда же придет он оплакивать его потерю и на том же праге, где отказывал всякому в помощи, узнает, каково быть в бедности и не найти сердец сострадательных. За этой стеной некогда стоял великолепный туалет: умывания Ниноны, похищенные у любимой султанши белилы, сотни чепчиков и шляпок, тысяча и один визитный билет – увы! – достались в жертву пламени. Что сказала бы красавица, когда наместо сих драгоценностей нашла бы она мертвого француза? Ужасно и подумать об этом!.. Вас позвал бы я сюда, гордые богачи! и указал бы вам на превратности жизни сей. С вами пошел бы гулять по развалинам, ненасытные честолюбцы, воздвигающие себе храмы и памятники

на бедствиях народных! Призвал бы сюда и вас, ученики безверия! и дал бы вам взглянуть на вражеские трупы, лишенные погребения, брошенные в пищу воронам и по смерти живо говорящие, что гнев Божий рано или поздно карает преступников. Здесь друг человечества вздохнул бы со мной об участи несчастных и могилу добродетельного почтил бы искренней слезой.

Сижу теперь на развалинах Кремля и на обломке его стен пишу мои замечания. И сие жилище царей наших, сей священный палладиум Москвы не поберегла рука разрушения!.. Большая часть башен и стен подорвана, не пощажен сам Иван Великий, сей памятник царского благоразумия среди бедствий народных, украшавший столицу два века, протекавшие мимо него с благоговением. Благословляю меч, карающий врагов Отечества и прав его, клянусь губительное железо, разрушающее памятники святыни и славы народной!

С. Троицкое, под Москвой, 15 октября

Побежден быть не может народ, в самых бедствиях гордый своим именем, в самых горестных потерях не лишившийся добрых нравов, среди жесточайших оборотов судьбы хранящий твердо веру в законы праотцев! Москва была несколько дней во власти иноплеменных, Москва превращена в пепел, но дух свободы и любви к Отечеству не переставали никогда оживлять древнюю столицу России. Добродетели сии сопровождают ныне мирного гражданина в самое изгнание из мест родины и неразлучны с воином, кипящим отмстить за пепел родных жилищ и права свои. Сильны Бог и Царь русский; могучи мышцами и духом потомки славян – и Россия побеждена быть не может! Каждый день слышу повествования о твердости жителей, необходимостью в Москве заключенных во время пребывания там французов. Спросите, кто были сии жители? Нищие, сирые, бедные вдовы, бесприютные и слабые старцы. Между деяниями сих героев злые слухи донесли до нас – со

всеми прибавлениями, обыкновенно наполняющими подобные рассказы о происшествиях, которых мы не были зрителями, – преступления одного или двух человек, изменивших законам чести и Бога. Но вернейшие известия, на которых нам приятнее основываться, утверждают, что сии злодеи были не русские. Мы готовы даже верить, что они не принадлежали никакому народу. Кто не может быть верным сыном Отечества, не достоин называться согражданином грубых Каннибалов, он не имеет ничего священного на земле, нет для него ни имени, ни родства, ни связей – целая вселенная его чуждается. Благословенная Богом Россия не знает подобных извергов: она сильна верными сынами. Картина Москвы, с одной стороны, наводненной толпами иноплеменных, дышащих грабежом и безначалием, с другой – огражденной твердостью духа оставшейся в ней горсти жителей, представляет истории прекрасные черты, подражания достойные. Москва является в ней, как знаменитая древняя жена, сидящая на развалинах величественного храма и защищаемая верной небольшой семьей против

многочисленной шайки грабителей. Жестоко обманула французов надежда обрести в русских грубых варваров, обвыкших подклонять выю под чуждое ярмо! Следующие подвиги служат тому свидетельством. Кровавое зарево пожаров обтекало древнюю столицу России; огромные палаты и бедные хижины превращались в развалины; храмы Божии предавались поруганию – и толпы иноплеменных бродяг без сострадания, без чести и веры праздновали на пепелищах уничтожение всех добродетелей. Вдруг, среди торжественных восклицаний порока, среди вопля старцев, жен и детей, раздаются громкие, утешительные голоса. «Это голоса свободы!» – говорят угнетенные и стекаются на зов ее. В Огородниках стоит храм, посвященный имени Св. Харитона. Туда собираются они, вооруженные булавами, ножами, серпами и вилами; находят с каждым днем новых товарищей несчастья; составляют между собой особенное общество; строят себе шалаши вокруг церкви и клянутся защищать ее от нападения безверных до последнего дыхания. Каждый день приходят они в церковь сию воссылать

молитвы к престолу Бога об изгнании врага из Отечества, о ниспослании победы русским воинам, здравия и славы законному государю. Несколько раз покушаются неприятели уничтожить священнослужение и превратить храм Божий в конюшню; но при первом покушении их героинице вооруженными сотнями стекаются вокруг церкви, ударяют в набат и заставляют самых мнимых победителей удивляться их мужеству и решительности. Некоторые из французских смельчаков пытаются с накрытой головой присутствовать при отправлении богослужения, но поднятые вверх вилы и грозные голоса свободы принуждают гордых пришлецов смириться перед законами слабых и нищих. Церковь, охраняемая столь мужественными защитниками, доньше уцелела и свидетельствует каждому, что верность царям, вере и коренным добродетелям есть твердейший оплот противу неравного могущества и бедствий, на землю посылаемых.

Священник Рождественского монастыря, известный примерной жизнью своей, не устрасился жестокостей иноплеменных. Вер-

ный своему государю и правилам совести, во всех молитвах своих возносил он к престолу Бога имя помазанника Его. Буонапарт, узнав о сем, послал к нему грозный приказ исключить сие имя из церковных молитв и впредь упоминать в них Наполеона, Императора Франции и прочих земель. «Я присягал одному царю русскому и не хочу знать никакого другого», – с твердостью сказал пастырь посланным и продолжал с большим рвением молиться о здравии законного Государя. Ему угрожают виселицей на Рождественском бульваре. «Донесите Наполеону, – отвечал он исполнителям приказов его, – донесите ему, что под рукой палача буду еще молиться об Александре».

«Не страшна смерть тому, кто умирает за царя и веру». К чести доносителей должно сказать, что они нашли ответ сей геройским, достойным даже французского народа, изобразили его таковым предводителю своему и оставили неколебимого священника исполнять долг его до самого побега великих легионов из Москвы.

Рим славился одной Лукрецией, древняя

столица русских может гордиться двумя. На берегу Москвы-реки в скромном жилище оставался один из служителей алтарей для попечения о приходской церкви и тайного надзора за схищенным им церковным богатством. Сокровища, храму принадлежащие, умел он сберечь от хищнических взоров, но не укрылось от них сокровище, ему собственно принадлежащее и для него бесценнейшее всех богатств земных, – две дочери, милые и прекрасные, как сама природа, как она, невинные. Под надзором умного, просвещенного и добродетельного отца взлелеянные, росли они для исполнения надежд его и украшения света – вскоре готовились они усыпать цветами радости и любви жизненный путь двух юношей, избранных ими по воле сердца. В сии смутные времена забывали помышлять о собственном счастье, думали только об успокоении Отечества. Обрученные принуждены были разлучиться почти у подножия брачного алтаря, клятва вечного союза готова была вылететь из уст их, и уста выговорили ужасное «прости» навеки; место сулимых им любовь и удовольствий заступи-

ла мрачная мысль о бедствиях общественных – и мечты, недавно подносившие им брачные розы, казали уже им в будущности одни могильные холмы, бранными огнями и пожарами освещаемые. Разлука ужасная! Но ее требовал неумолимый рок – и друзья, повинаясь ему, расстались с горестным предчувствием. Вскоре притекли в Москву орды разноплеменные. Простые солдаты, гордясь безначалием, повиновались одним желаниям своим; начальники вместо того, чтобы давать подчиненным пример воздержности и кротости, подражали им в своеволии. Скромное жилище священника не избегло их посещения, там увидели они прелестных сестер и по праву победы нарекли их заранее своими данницами. Чтобы уловить их скорее в свои сети, употребляли они сначала хитрость, ласкательства, обещания, любовь, клятвы и даже священное имя Бога, но, видя предложения свои отвергнутыми с презрением и твердостью, они прибегнули к силе. В скором времени (это было к вечеру) отсутствие отца послужило им к совершению злодейского их намерения. Целой разбойнической шайкой во-

рвались они в комнату, где находились обе сестры, и застали их молящимися перед распятием. Не уважая ни мольбы, ни слез их, смеясь изображению Божественного Страдальца на земле и Судии небесного, которое несчастные обнимали вместо защиты, злодеи связали им руки и повлекли их из дому. Приближаясь к Каменному мосту, сестры уговорились на чуждом похитителям языке вооружиться против них обманом и решиться для избежания вечного позора умереть добродетельными. Решились – и слезы осушены, тихая покорность воле сильных показалась уже во взорах их, улыбка любви порхнула на помертвелых устах, и нежный, сладкий голос просил облегчить их узы. Какое жестокое сердце не тронулось бы этой просьбой, с которой, казалось, сливались обещания и надежды? Варвары, обманутые наружностью своих пленниц и притом уверенные в силе своей, исполнили их желание. Пустив за несколько шагов от них передовую стражу, сопровождая их в отдалении большой толпой с комическими песнями, они хотели доказать тем свое великодушие.

Но – кто из них того ожидал? Обе сестры, приближаясь к середине Каменного моста, схватив друг дружку за руки, пустились бежать, перелезли одни перила, перекрестились, показали рукой на небо, влезли на другие перила и одна за другой бросились в реку! Все это совершилось в несколько мгновений. Французы от изумления и ужаса стояли неподвижны, не верили глазам своим и не знали, что начать. Хотели вытащить несчастных из воды, но, найдя их совершенно обезображенными сильным ударом о камни, во множестве разделяющие течение Москвы-реки, отдали их на произвол стремнины. В глубоком молчании, как приговоренные к смерти преступники, возвратились они домой. В сердце не смели они заглянуть: в нем гнезвился уже грозный спутник, до престола Вечного Судии с ними неразлучный; не осмеливались они взирать и на небо: там начертана была будущая судьба их! Что сделалось с несчастным отцом? Он в объятиях веры старался искать утешения и, может быть, ныне нашел его. Что сделалось с злополучными женихами? Ничего не слышал. Если бы я писал роман, а не ис-

тинное приключение, то сказал бы, что один из них путем смерти и славы соединился с любезной, другой же, заключив себя в монастырских стенах, остался телом жить на земле...

Сотни подобных происшествий ознаменовали сентябрь месяц 1812 года, французские бивуаки в Москве блистали многими подобными огнями. Безумные пришлецы узнали, каково незваным гостям гостить в русской столице и каким образом рабствуют на севере. Не одна тысяча их лежит в погребах, колодезях и под мельницами. Если бы собрать все черты мужества, твердости нравов и других добродетелей, исполнявших русских во время пребывания французов в Москве, то можно бы написать целые книги. Искусным перу, резцу и кисти предстоят труд и слава вывести из мрака неизвестности геройские дела соотечественников и представить их во всем блеске на сцену мира.

Москва, 18 октября

Москва начинает стряхать с себя пепел и мало-помалу оживает. Гений ее, бродя по развалинам, собирает снова детей вокруг печальной, но всегда бесценной сердцу матери и ласкает их утешительной надеждой, что счастье, богатство и слава посыплют на нее свежие венки. Жители понемногу стекаются в Москву. Между развалинами ходят иные, как Радклифовы привидения, и ищут следов своих жилищ и имуществ; другие, одиночкой или парами, встречаются вам на улицах и спрашивают вас о той, на которой сами находятся. Через заставы пробираются огромные возы с жизненными потребностями; на рынках волнуется народ и жужжит, как рой пчелиный с приближением цветущей весны. Ремесленники на площадях предлагают вам свои услуги; каменщики и плотники считают тучные задатки. Уже извозчики на быстрых иноходцах мчат вас из края в край города, и петербургская карета один раз в сутки стучит по мостовой. Уже шумит топор, и веселое его эхо отзывается в моем сердце. В Москве може-

те ныне найти теплый угол, вкусный обед, все необходимые потребности жизни за недорогую цену и даже предметы роскоши. Перед развалинами Гостиного двора видите скромные палатки, столы, стулья и треножники, на которых лежат товары, хотя не в изобилии, но довольно хорошие. Каждый день принимает город лучший и приятнейший вид. Можно сравнить Москву с прекрасной женщиной, которая во время печального траура лишилась лучших своих прелестей. Наступил конец горестного испытания, и она, забыв прошедшее, улыбается будущему, спешит рядиться в новую, разноцветную одежду, любитесь в зеркале оживлением своих прелестей и с каждой новой минутой готовит своим обожателям новые приятности.

Наконец расстаюсь с тобой, Москва, древнее жилище царей, колыбель и гроб многих из них, средоточие богатства, изобилия и веселостей России и родина моя священная! Видал я тебя цветущей, красивой, величественной; зрел я твои развалины: да порадуюсь некогда возобновлению твоего великолепия, красоты и славы твоей – и скажу с гордостью

МОСКОВИТЯНИНА:

Что матушки Москвы и краше, и милее?

С. Хатунь, 20 октября

В кругу семейства одного из здешних помещиков, за дубовым столом, за русским хлебом с солью, подтвердил я сам себе замечание, сделанное уже мной несколько раз насчет счастливой жизни крестьян графини Орловой. Красивая наружность домов, опрятность и порядок во внутренности их, довольство в пище их обитателей, чистота и богатство в одеждах, свежесть и здоровье лиц, живость в обращении и делах торговых, более людскости, более рассудительности и лучшая нравственность: вот что отличает их от многих других помещичьих крестьян. И всем этим обязаны они человеколюбивым о них попечениям молодой наследницы имения и душевного богатства героя Чесменского. Зато нет ни одного, который бы не произносил ее имени с сердечной признательностью, нет ни одного, который бы не благословлял кроткой, мило-

сердной своей властительницы. Что же должна чувствовать она в душе своей? Какие торжества, какие награды могут сравниться с удовольствием брать с тысячей богатейшую дань любовь, внимать себе от подданных детей искреннюю похвалу и слышать отзыв их благодарности во глубине своего сердца? Тут я вспомнил о покойном графе Алексее Григорьевиче и сказал сам себе: как родитель был страшен врагам на морях, так дочь в хижинах любима и благословляема.

В почтенном хозяине моем представляется мне живой урок многим мудрецам нашего века. Нежный отец и вместе строгий правитель и судия своего семейства, красноречивый оратор за мирское дело, жаркий защитник слабого и невинного в сельских советах, трудолюбивый возделыватель полей и, следовательно, полезный член Отечеству, покорный властям и всякому порядку по тем же законам, по каким сам почитаем в своем доме, добрый христианин без умствований, верный подданный, чтящий в царе своем образ всевышнего правителя на земле, мудрец, читающий каждый день великую книгу природы, —

он постигнул сердцем, что следовать ее простым велениям есть повиноваться воле Бога.

Ныне празднуют здесь изгнание врагов из Москвы. Я поспешил за поселянами в церковь. Умный пастырь, кончив священное служение, обратил к своему стаду трогательную, простую речь. Он говорил о торжестве любви к Отечеству, к царю и вере – не фигурами, не набросанными одним на другое умствованиями, – он говорил сердцу красноречием природы, и сердце каждого понимало его без изъяснений. Ему известно было, что простые примеры, собранные в кругу тех, к которым обращался, у плуга и на торжищах, в дымной хижине и в богатой светлице, подействуют сильнее на душу селянина, нежели взятые из какой-нибудь риторики пыльные образчики. Он знал, что нравоучение, чистое и всемвнятное, почерпнутое из христианской нравственности (которой должна также служить самая жизнь пастыря), лучше запутанного красноречия древних и новых умствователей; он знал это очень хорошо – и знание свое умел употреблять в пользу. Крестьянин, слушая его с искренним, душевным участием и

уважением, не имеет нужды (как часто случается) спрашивать у своего товарища: «что говорит батюшка? я слышал, что он проповедует красно, да я его не разумею», – и тому подобное. Жителя села, простого сына природы, не тронешь и не убедишь ученостью, он послушен более красноречию матери своей и всегда верный данник ее всем сердцем и душой. Хвалю трогательное и простое риторство здешнего священника и желаю искренно, чтобы сельские наши пастыри взяли его образцом для подражания.

Г. Калуга, 26 октября

Первое место в моих записках должны занимать деяния соотечественников моих – деяния, возвышающие имя и дух русского. Следующим повествованием сделал мне подарок один смоленский помещик, бывший очевидным свидетелем самого происшествия.

...Соединенные войска двадцати народов текли в Россию подобно грозной, черной туче, носящей в себе опустошение и гибель золотой жатвы, врата Смоленска отворились с громом, и через них все бедствия войны внес-

лись в сердце драгоценного Отечества, пламя пожаров пробежало бурей до стен кремлевских. Хищение, разврат и забвение всего священного, грозя самым небесам, бродили по развалинам городов и сел; толпы несчастных жителей убегали со страхом, оглядываясь на пепелище домов своих. Там мать с грудным младенцем укрывалась в густоту лесов, страшась не столько диких зверей, сколько свирепых пришельцев; здесь старик под ношей лет и бедствий искал по рощам и полям пищи для продолжения своей жизни и для семьи малолетних детей; сын отыскивал отца своего под развалинами; жена умоляла вернуть ей супруга: все проливали слезы о разлуке с милой родиной. Уже сильные руки во мраке ночей ковали копья, уже косы и серпы острились, но час свободы еще не звучал – и гордый сын севера в ожидании его затаил в груди своей грозное чувство мщенья.

Наполеон с адской усмешкой считал раны, покрывавшие часть России, и наблюдал место, где мог бы еще вернее поразить ее. Желая истлеть нравы русского народа, он учредил на развалинах Смоленска верховный суд и

предписал ему довести до сведения оставшихся в городе и округе жителей, что те из них, которые будут недовольны русским правосудием и управлением, могут требовать защиты от французской расправы: видимое желание вооружить противу справедливой власти и отечественных законов какую-нибудь толпу беспокойных бродяг и бросить тем искру бунта в сердца народа! Неудовольствие некоторых крестьян Смоленской губернии на помещика их, оправдав самым неприметным образом сие намерение, показало между тем повелителю французов, до какой степени может дойти благородная гордость русских и на какие жертвы готова любовь их к Отечеству.

Известный духом истинного благородства и твердости смоленский дворянин Энгельгард не ужаснулся нашествия неприятелей. Соболезнуя о бедствиях родины и желая присутствием своим облегчить горестную участь сограждан, он остался в поместье своем, в Духовском уезде. Положа руку на сердце, взглянув на небеса, он дал небесам сим обет: среди многочисленных врагов действовать противу них же; окруженный чужеземной властью,

он решился укоренять в сердцах народа любовь к законному государю и на пепелищах отчизны своей вознести знамя народной свободы и счастья. «Дела мои, совесть, государь и Бог оправдают мое здесь пребывание!» – сказал он и начал исполнять священный обет свой.

Некоторые крестьяне его, недовольные устройством, в котором он содержал их во все время общего беспорядка, негодуя на примерную строгость, с которой он наказывал их за участие в грабеже французов и за ослушание против русских законов, – крестьяне эти, прельщенные льстивыми обещаниями вольности и золотых источников, решились идти в Смоленск к французскому начальству доносить на своего помещика о лишении им жизни нескольких французов. Просьба крестьян выслушана судьями, произведено следствие, и не найдено никаких следов смертоубийства. Сам предводитель разбойнической шайки постыдился бы произнести решительный приговор над Энгельгардом. Дела потекли по-прежнему в поместьях сего последнего; но дух злобы не дремал: вскоре бунтовщики,

подстрекаемые Наполеоновыми прокламациями, соединились в небольшую разбойничью шайку, набрали в окрестностях несколько убитых французов и, бросив их в отсутствие помещика под пол его дома, привели из Смоленска французских комиссаров для вскрытия этих полов и свидетельства мертвых тел. Энгельгард найден виновным в смертоубийстве и призван в верховный суд в Смоленск. Восстановитель отечественной свободы Вильгельм Телль не являлся к грозному притеснителю Швейцарии с такой твердостью духа, с какой вступил в среду судей защитник славы государя и сограждан своих. Благородная гордость русского дворянина, уверенность сына Отечества в исполнении своей обязанности, любовь к царю и вере сияли в очах его, управляли всеми его движениями и приводили в смущение собравшийся для приговора его французский совет. Не подсудимым казался он, но судьей неколебимым, пишущим толпе преступников приговор к вечному их посрамлению. Наконец Энгельгард осужден быть расстрелян. «Ведите меня скорее к месту моего торжества!» – сказал он французскому ка-

раулу, выслушав со всем хладнокровием приговор свой. Напрасно прельщали его, от имени Буонапарта, свободой и прощением; тщетно обещали ему высокие почести и награды, если он отречется от законного государя своего и объявит смоленскому народу, что повелитель французов есть ныне настоящий монарх России и помазанник Божий! «Свобода моя принадлежит Богу и царю русскому! – и мог ли Наполеон сделать меня рабом своим? Скажите ему, что я и теперь свободен; скажите ему, что русские дворяне умеют умирать таковыми за государя своего и Отечество!» – так отвечал он и повторил снова требование, чтобы его вели скорее к месту казни. Дорогой произнес он раза два сопровождавшему его караульному офицеру известный Корнельев стих:

*Le crime fait la honte et non pas
l'échafaud.*
(Не казнь постыдна, преступле-
нье!)

На месте казни хотели завязать ему глаза платком; но он, сорвав его с негодованием, сказал: «Русский не боится смерти!» – пере-

крестился и ожидал роковой пули с твердостью духа, удивившей самих палачей. Свинец засвистал – Энгельгарда не стало!.. Но Царь[1] и Россия его не забудут; сограждане воскресят его в памяти и сердцах своих и передадут его потомству в пример великих жертв любви к Отечеству.

Приятно мне мечтать об оживлении Русского Кодра в памятнике! Пускай смоленское и целой России дворянство, соединясь едиными пожертвованиями, соорудит памятник этот тому, кто так славно умер за права и честь дворян; пусть поставит его на одной из площадей смоленских в память сынам и правнукам нашим! Пускай на одной стороне его начертают: Русскому Кодру; на другой Энгельгарду – Российское Дворянство. Глядя на него, мирный гражданин прочитает во взорах великого обязанности свои государю, согражданам и Отечеству.

Поклонившись ему, молодой воин вскипит огнем мужества и спросит копьё свое, чтобы *потрясть землей и адом*. К памятнику этому придут поучиться люди всех состояний и званий и познавать величие имени русско-

го. Какой пример коренных наших добродетелей! Какой богатый предмет для художника и какое славное поле для гения!

Мечтаю – и счастливый сей мечтой благословляю память великого Энгельгарда и жребий, судивший мне родиться русским.

Рославль, 10 ноября

Я прибыл в город вчера вечером и остановился у одного русского купца, гостеприимного и любезного. После сытного ужина, приправленного голодом и ласками хозяина, меня оставили одного в теплой, уютной комнате успокоиться от походных трудов. Двадцатиградусный мороз дыханием своим пушил окна моего жилища; стены трещали ежеминутно. Я сидел у разложенного в камельке огня и смеялся угрозам зимы. Со мной был Боннет. «Как велик человек! – с гордостью подумал я, прочитав два-три отрывка из Созерцателя Природы. – Пресмыкаясь телом по земле, он духом в небесах летает. Нет, кажется, в мирах для него сокрытой тайны: сам Творец знакомит его с чудесами творения. Умен, могуч, величав, он зрит с улыбкой, как все

ему покорствуется. Гроза и гордость зверей, лев повинуется его взору; быстрая, как горный ветер, серна, внимая голосу его, останавливается на краю утеса и преклоняет перед ним ветвистые рога свои; парящий под солнцем орел к нему спускается по его велению. Сами стихии ему раболепствуют. И кто на земле не платит дани царю земному и любимцу Небес?..»

Ныне видел я подобного себе в уничижении, видел человека, Богом и людьми отброшенного, и признаюсь, что никогда ничего не зрел ужаснее. Еще с содроганием вспоминаю это зрелище. Ночью прибыл в Рославль трехсотый транспорт с пленными, пущенный из-под Красного при нескольких казаках. Боялись с ними заразы и для того расположили их бивуаками близ города. Утолив голод — некоторые остатками сухарей, иные мертвыми лошадьми и товарищами, — предпочли они кочевью на снегу городские овины и сараи. Одни зарывались в солому, другие прятались в трубы и печи; были даже такие, которые, собравшись толпой в пустой дом (большая часть здешних домов еще без хозяев), ло-

жились десятками друг на друга, зажигали его со всех четырех углов и содельывались жертвой безумия своего. Поутру собрали казаки оставшихся и недосчитали более двухсот. Меньшую половину из их числа полагали умершей, другую бродящей по всем концам города. Я не успел проснуться, как привалила ко мне толпа французов, итальянцев, поляков, вестфальцев, баварцев, пруссаков, испанцев и бог знает каких народов! Думаю, что эпоха построения Вавилонской башни не производила такого странного и жалкого смешения языков. Каждый не говорил, а стонал на своем наречии; все проклинали Буонапарта, виновника их бедствий. Один сказал мне: «Брат мой, последняя подпора шестидесятилетнего отца, погиб в горах Гишпании; а я осужден найти себе могилу в русских снегах». Другой: «Освободясь от трех конскрипций деньгами, не избегнул я четвертой – и теперь, в удалении от олив родного Лангедока, в разлуке с семейством и милой невестой, гляжу с ужасом на приближение смерти». Третий: «Не нужен ли вам хороший кучер? Я управлял шестеркой коней у министра финансов и

играл не последнее лицо в конюшне и тайной приемной его превосходительства». Четвертый: «Парикмахеры-нравоучители в России неизвестны; а я, обладая искусством убирать волосы, могу преподавать за туалетом Эпикурову философию. В Париже был я в славе; если же у вас не перестанут подражать обычаям первой столицы мира, то...» Бедняк не договорил, увидев в руках моего хозяина кусок хлеба. Какой-то немец брался разводить у русских картофель и научить их находить вкус в супе из костей. Стоявший рядом нормандец божился, что под надзором его русский барчонок в шесть месяцев будет совершенным парижанином. Сыскался один гасконец, который, требуя только года времени, нескольких миллионов рублей и, кажется, тысяч пятисот войска, обещался привезти Наполеона в Москву в железной клетке. Всякий предлагал свои услуги и хотел в награду одного куска хлеба и теплого угла. Ужасно было смотреть на странную их одежду, едва прикрывающую наготу тела, на черные, задымившиеся лица их, на томные и вместе страшные взоры, в которых, казалось, потухала жизнь и водворя-

лись мучения ада! Невозможно пробыть с ними пяти минут в одной комнате, так силен смрад, происходящий от смеси дыма с пищей лошадиного мяса. Если бы не принимали всех возможных мер для предохранения жителей от заразы и если бы зима с жестокими морозами своими не пришла к этим предосторожностям на помощь, то чума со всеми ужасами посетила бы неизбежно эти края.

К чести русского гостеприимства и человеколюбия, хозяин мой, несмотря на злоречивые толки, пренебрегая страхом сделаться больным, взялся быть благодетелем погибающих. Не знакомый с древними школами, не считая себя членом ни одной из новейших, послушный только нравственности, чистой, не искаженной предрассудками, и повинувшись природному чувству сострадания, он потушил в душе своей чувство мщения и, помня, что враг перестает быть таковым, когда обезоружен и слаб, он делал добро всякому, кто только требовал его помощи. «Несчастные довольно уже наказаны гневом Божьим», – говорил он, собирая к себе злополучных пленников. Он согревал их, кормил, одевал, лечил и,

наконец, отпускал их в печальное странствование. Стараниями его оживленные узники, осыпая его тысячью благословений, благословляли с ним вместе имя русское. «Если хоть один из нас возвратится в свое семейство, – говорили они, расставаясь с ним со слезами, – то заклинем детей и весь род наш почитать за родного всякого русского, которого жребий войны пошлет на поля наши; заклинем их облегчать для него узы плена всеми жизненными выгодами и усладить для него разлуку с Отечеством утешениями дружбы и братства».

Хвала и слава имени русскому! На бранных полях гремит он победами; в мирных хижинах цветет состраданием. Хвала вам, сердца чувствительные! Герой восплещет народ среди шумных торжеств своих; человека благодетельного вспомнят несчастные в молитвах своих у престола Бога. Может быть, найдутся люди, которые истолкуют в худую сторону деяния рославльского купца; но чистого совестью оправдает Сердцеведец.

«Вы не видели еще человека на последней степени уничижения, – сказал мне хозяин. –

Пойдемте по городским улицам, я покажу вам его, и вы ужаснетесь!» В самом деле, что увидел я, выйдя из дому?.. Волосы становятся дыбом; сердце замирает от ужаса, и перо насилу повинуется мне для изображения человека, истощившего милости Творца и наконец всем гневом Его постигнутого. Поруганные храмы, разграбленные и попаленные жилища, обесчещенные жены и девы, лишенные приюта сироты и старцы требовали от Небес мщения, и Небеса послали его наконец в пример вселенной. Все бедствия войны, все ужасы природы стеклись вместе, чтобы пасть разом на главы преступников: бегство, голод, мороз и всевозможные потери соединились в одно неслыханное доселе наказание. Бесмысленные твари не были никогда так унижены, как человек в мрачную эту эпоху. Гляжу вокруг себя со страхом и вижу людей в самых мучительных положениях. Один, в женской изорванной одежде, ползет на коленях и локтях; другой, полунагой, идя, падает навзничь окостенелый; третий грызет лошадиную ногу; четвертый с обезображенным лицом вылезает из-под развалин. Пятый от сла-

бости присел у порога хижины: снег клоками падает на обнаженную грудь его; все члены его трепещут от конвульсий; видно, что он борется еще со смертью. Он вспоминает отца, мать, любезных сердцу, милое отечество; уста его произносят еще имя Бога. Слышу последний вздох жизни – и содрогаюсь от ужаса!.. Нет средств помочь тем, которым сама Природа отказала в помощи. Люди сострадательные, находя этих несчастных на улицах, обогрели их и насыщали за обильной трапезой, но не в состоянии уже были возвратить многим из них истощенной жизненной силы.

«Вот подобный мне человек! Вот Царь земли! – сказал я сам себе и с мрачными мыслями, с чувством уныния возвратился домой. – Бедное человечество!..»

Придите рассеять черные мечты моего воображения, вы, благодетели рода человеческого! И вы, умы бессмертные, посетите меня в моем уединении. Титы, Марк-Аврелии, Генрихи, Петры, Екатерины, Пожарские, Сократы, Невтоны[2] и Державины! Окружите меня Гением добра, ума и великих дел ваших. Да забуду в вашей беседе, как может быть уни-

жен человек, и, стряхнув с него прах земного рабства, да возвышу его снова до бессмертного величия вашего!

Местечко Шклов, 11 ноября

«Вот и Шклов!» – сказал я с восторгом, переезжая широкий Днепр, на берегу которого сидит самое местечко. Ни один путешественник – знакомый и неизвестный, знатный и бесчиновный, богатый и бедный – не имел свободы проехать через Шклов, не завернув к знаменитому его обладателю. Ни один гость не выезжал из него, не заплатив дани удивления богатству и вкусу, с которым его угощали, не принеся дани уважения и благодарности тому, который все неприятности пышного вельможи умел прикрывать какой-то очаровательной любезностью и ласками своими. Здесь была столица роскоши и удовольствий. Все, что богатства в союзе с умом и вкусом произвести в состоянии; все, что Природа создаст и искусства украсить могут; все, о чем только неба, обильная выдумками, мечтать и что совершить она может, было собрано в цветущем Шклове. Сюда щед-

роты благодетельного вельможи призвали Муз вместе с богом войны и здесь основали им приятное жилище. В здешний Кадетский корпус со всех сторон России и Польши стекались тысячами благородные юноши. Тут науки просвещали умы и сердца их, искусства их украшали и чистая нравственность образовала; все вместе производили полезных Отечеству мужей и доставляли ей славных защитников. Здесь жил, наконец, любимец Фортуны, окруженный уважением тысячи чужеземцев и единоплеменников, прелестями и ласками роя Граций, блеском, шумом и красотой строев конных и пеших кадетов, пышностью и веселостями двора своего, благодарностью им осчастливленных, одним словом, здесь жил *Зоричь!*

Зоричь более не существует, и с ним перестал *жить* Шклов. Это ныне – обыкновенное польское местечко, в которое богатые жида, худым немецким языком или испорченным русским, приглашают путешественника и из которого низкие, неопрятные корчмы заставляют его скорее удалиться.

Г. Борисов, 14 ноября

Путь от Рославля до Борисова усеян мертвыми телами, которые представляются глазам в разных ужасных видах. Никого не встречаешь на дороге этой, кроме изуродованных морозами воинов *великой армии* в женских, крестьянских, жидовских и других странных одеяниях. Первый раз в жизни вижу печальный маскарад. Сожженные корчмы, опустошенные деревни и бродящие около развалин своих с *палашем при боку* шляхтичи, ограбленные великими своими избавителями – французами: вот предметы, которые повторять не слишком приятно! Около Борисова и в самом городе любовался я трофеями русских. На полях их, в их оградах довершено сокрушение сильнейшей армии (какой никогда не существовало), носившей ужас от дворца Эскуриальского до стен Кремлевских. Предводивший ее Гений, приучивший саму смерть страшиться его, дававший законы царям и признававший власть Бога только на Небесах, бежит теперь без души от горсти преследующих его казаков. Можно сказать,

что он так утомил Фортуну своими непрерывными успехами в дедале кабинета и на чистом ратном поле, что она вдруг отказалась служить ему. Справедливее прибавить должно, что он утомил терпение Небес до того, что они в несколько месяцев излили на него весь гнев свой. Чем-то кончится его военное и политическое поприще? Будет ли он уметь, воспользовавшись ужасным уроком, загладить свои ошибки и преступления? Признает ли себя виновным перед судом людей и Неба и заменит ли ненасытную страсть честолюбия истинной любовью ко благу своего народа и спокойствию общему? Какого имени удостоится он от будущих поколений? Нам до сего часа предоставлено дать ему только те имена, на какие могут иметь право деяния, противные законам чести, справедливости и любви к ближнему, — деяния, которые должны питать в душе нашей одно чувство ненависти и потушить в ней всякое доброе чувство, прежде возбужденное его полезными Франции трудами и военными подвигами.

Хотел бы пером военного наблюдателя начертать план Борисовского дела; желал бы

удержать в моей записной книге распоряжения полководцев, содействовавшие наиболее к успеху победы или к замедлению ее, уловить минуту, которой покорствуя Гений решает судьбу битвы, – с холодным, терпеливым беспристрастием разобрать ошибки, который были вскоре исправлены или сопро-вождались важнейшими последствиями. Но возможность слишком часто не соглашается с доброй волей. Круг обзрений частного офицера тесно ограничен: он не простирается далее его дивизии или, много, корпуса. Сведения почерпает он или на самом поле сражения, где он действует на черте, ему назначенной, и не видит, что делается на других; или в кругу товарищей, рассказывающих ему о том, что около них происходило; или в общем мнении, которое иногда бывает плохой судьей и ценитель наших дел. Соображаясь с подобными сведениями, он делает по ним свои суждения и нередко ошибается. Таково положение наше, когда, не имея верных источников, хотим пощеголять замечаниями насчет стратегических *линий* и *пунктов* какого-нибудь сражения. За грубые ошибки достается

нам, как обыкновенно достается в подобных случаях мирным героям кабинета от полевых героев: награда известная – смех сожаления! Воспользовавшись собственным моим замечанием, упомяну только о том, что к нам ближе и известнее. Скажу, что соображения главнокомандующего, доставившие нам бесчисленные трофеи, не могли быть с большей тонкостью и мудростью обдуманы; что генерал Милорадович, привыкший первый встречать и первый провожать неприятеля, всегда собирать венки и щедро раздавать их своим сотрудникам, герой всегда отважный и счастливый, острил на врагов смертоносные штыки своих гренадер; что готовился славно вспомоществовать ему дальновидный и храбрый генерал Ермолов с военными товарищами; но что Судьба не дозволила вполне совершиться начертаниям вождя русских войск и рвению сподвижников его, уберегая конечно хищника престолов и нарушителя прав народных для жесточайшего наказания.

Г. Минск, 20 ноября

Первый город от самой Калуги, в котором можно засыпать розами наслаждения протеченный путь, усеянный ужасами смерти и беспокойствами жизненными! Здесь имеешь уже способы понежить взоры и вкус; здесь, наконец, эпикурействуют наши северные герои после нескольких месяцев, проведенных в самых жестоких испытаниях стоической школы.

Я вступил в Польшу и не вижу еще польского города. Кто здешние обитатели? – жида. К кому прибегнуть для покупки или продажи? – к жидам. Где найдешь здесь художников и мастеровых? – между жидами. Они продадут, купят, сделают, сыщут и доставят все, что только продать, купить, сделать и сыскать можно. Вся торговля и промышленность, все искусства и художества платят богатую дань оборотливым и проворным евреям, и золото Польши большей частью сыплется в широкие их карманы. В удел природным ее обитателям достались возделывание земли и защита ее. Они питают и обороняют чуждый

народ, который, спокойно сидя в своих конторах, лавках, мастерских и корчмах, собирает с них же деньги и их же обманывает.

Зеленая корчма под Вильной,[3] 1 декабря

Сладкие мечты воображения! Куда перенесите вы меня из дремучих лесов Литвы, из мрачной корчмы польской?.. Ах! Вы переселяете меня на места, сердцу драгоценные, – на милую родину!

Сижу теперь в семейном кругу почтенного русского дворянина. Шумит буря; метель засыпает окна мирной обители и возносит около нее снежные валы. Но завывающая буря и крутящийся в снегах вихрь нас не ужасают; мы сидим у зажженного в камине огня и любуемся розовым пламенем, порхающим по угольям. Дрожащий старец, глава семейства, рассказывает нам, как Задунайский унижил Чалму, как Италийский сломил рога буйной Праге и карал на горах Альпийских учителей в искусстве военном. Другой, ближайший родственник дому, повествует о мудрых деяниях Екатерины, о великих мужах ее века и

золотом ее царствования. Две замужние женщины, цветущие душевной и телесной красотой, и племянницы их, числом и прелестями Грации, слушают с вниманием рассказы почтенных летами и опытностью родственников. Вся душа их, кажется, во взорах и на устах красноречивых повествователей. Старики вдруг умолкают. Розовое пламя умирает мало-помалу; Ангел тишины и уныния пролетает над нашим кругом. Долго царствует глубокое спокойствие; наконец оно прерывается общими жалобами на разлуку. Те сетуют о супругах, другие о любезных братьях, третьи о сыновьях, препорученных битвам и славе отечественной войны. Одна из прелестных не смеет и роптать вслух на горестную свою участь; тихий вздох вылетает из груди ее – и этот вздох принадлежит милому ее жениху. «Где-то теперь любезные сердцу нашему? Укрыты ли от бурь и непогоды? Живы ли, здоровы ли они? Думают ли о нас в странах чуждых, отдаленных?» – говорят они. Все снова умолкает, снова та же мертвая тишина царствует. Вдруг слышны слабые звуки колокольчика – слышны и теряются в отдалении.

Но звуки ближе, ближе, уже на дворе, уже у крыльца... Прелестные летят из комнаты и скоро возвращаются – с военными ведомостями в руках. Все садятся по местам. Отец семейства трепещущей рукой берется за газеты, надевает очки, возводит взоры к Небесам и читает: «В незабвенный день К... битвы ротмистр А...» – «Это внук мой!» – говорит старец дрожащим голосом. «Это наш братец! Ради Бога, продолжайте, дедушка!» – восклицают прекрасные. «Это он», – с сердечной боязнью шепчет милая невеста. Старец, повинувшись прелестным родственницам, повинуется сердцу своему. «Ротмистр А... видя, что французская батарея, наведенная на левое наше крыло, вырывала сотни жертв из твердых рядов и приводила в опасность жизнь многих генералов, вызвался лететь со вверенным ему эскадроном на батарею сию и поклялся честью своей уничтожить адское ее действие. Честь русского офицера священна – и предложение его принято с удовольствием. Громы батареи ужасно грянули – еще раз грянули... и вдруг умолкли! Ротмистр был уже на ней, привел в замешательство ее защитников, за-

хватил большую часть ее орудий и, покрытый ранами и славой, возвратился к своему месту. Сам фельдмаршал встретил его с поздравлением и собственной рукой надел на него Георгиевский крест».

– Эй! Корчмарь! Еврей! Водки!..

Я хотел было продолжить мое пребывание в кругу любезного семейства, хотел представить радость деда и милых внучек; думал описать черту мужества и великодушия других родственников; но вынужден теперь возвратиться скорее в дремучие леса Литвы, в бедную польскую корчму и сказать воображению: остановись!

Сейчас пришли сюда два русских офицера, которые самым странным голосом требуют водки. Один из них бьет по столу грозно нагайкой; другой, называя себя каким-то князем (конечно, татарским), тормозит немилосердно корчмаря-жида и жену его, потом делает с ним мировую за стаканом водки, ссорится за другим и бьет его за третьим. Один подходит ко мне с вопросами: что я за человек? Не французский ли шпион? Я смотрю на него с удивлением; потом с сожалением усмехаюсь,

пожимаю плечами и продолжаю писать.

Пускай в семействе русского дворянина скажут, прочитав некогда мои записки: «Дай Бог, чтобы ни один из этих офицеров не был моим братом и даже дальним родственником!» О невесте и говорить не нужно: какая девушка, хотя бы она не имела ничего, кроме своей души, хотя бы она была дочь простого ремесленника – какая девушка согласится дать руку подобному господину?..

Воспитание есть лучшее украшение воина. Звание его, давая ему особенные преимущества, не дает ему права быть грубым, необходимым и жестоким; напротив того, добродушие, любезность и чувствительность должны быть вплетены в венок его вместе с мужеством, твердостью духа и пренебрежением всех опасностей. Грозный, как лев, среди волнений шумящей битвы, кроткий, любезный и сострадательный в мирной хижине – вот отличительные черты истинного воина!

Г. Вильна, 12 декабря

Исполнился обет государя против неожиданных бурь судьбы ополчившегося твердостью духа и уверенности в любви к нему сынов его; услышаны Небесами молитвы верного ему народа, среди мирских превратностей сохранившего свои коренные добродетели и нравы; увенчались успехами мужество и труды войска его, великого на бранных снегах и на пепелищах родных хижин, – *не осталось уже ни одного врага на лице любезного Отечества!* Красуйся, цветы, величайся снева, Россия! Но в красоте, богатстве и славе твоей не забудь начертать на скрижалях вечности имя монарха, своей твердостью отстранившего твое уничижение; не оставь врезать в них клятву его: *не положить оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в твоих пределах.* Пускай сыны наши, величаясь именем русского, в благородной гордости повествуют сынам и внукам своим о том, кому обязаны они благополучием ходить по вселенной с возвышенной головой и смелыми очами! Пускай деяния его будут пер-

вым лепетанием младенца, начальными предметами воспитания юноши, любимым разговором мужа и последним у гроба воспоминанием старца! Пусть память Александра I со слезами благодарности в роды родов благословляется, и любовь к нему на сердцах народных внесется к престолу Бога!

Бедные остатки неприятельской армии бегут уже за Неменом. Мы начинаем дышать воздухом счастья; отдыхая здесь, мы веселимся – веселимся тем более, что отголоски наших торжеств и радостей отдадутся скоро в сердце любезного Отечества. К дополнению счастья сего с нами князь Смоленский, утомленный победами, отдыхающий здесь на лаврах, собранных с полумиллиона врагов. «Иди спасать Россию», – сказал ему монарх в Петровом граде, и повторили то сердца народа. «Ты спаситель России», – говорит ему ныне государь в Вильне, и благодарное Отечество поздравляет его этим именем, и вселенная им уже Кутузова приветствует! Что должен ощущать светлейший, видя к нему явные милости Небес, благоволение государя и любовь вверенных ему войск; внимая благодарности

России, приветствиям мира и тайному отзыву собственного сердца, говорящего ему, что ни один победитель не всходил на подобную высоту славы?.. Он восхищается в душе своей и восхищение делит с сотрудниками-героями. К довершению нашего блаженства государь император изволил прибыть в Вильну (вчерашнего числа). Минутные бедствия Отечества, труды и опасности военные, собственные потери, болезни и несчастья – все забыто в рядах храбрых, восхищенных приездом любимого монарха. Один взор его осветил мрачное прошедшее; один *миг* покрыл *годы*!

Вильна торжествует прибытие государя. Душам обыкновенным сродно мщение; но великодушный Александр мстит Вильне одной милостью и благодарит ее за радостные приветствия. Весь город блистает разноцветными огнями; везде светло снаружи – каково-то внутри?.. На ратуше отличается от многих других прозрачных картин изображение Геня России, карающего толпу галлов, и над ним парящего с лавровым венком двуглавого орла. Говорят, что подобное изображение, с лестными для Наполеона переменами, укра-

шало то же здание, когда честолюбец, приковав поляков к колеснице своей, огнем войны освещал путь свой в Россию. Последуя великому примеру, мы не хотим этого слышать, забываем прошедшее и радуемся от души настоящему.

На днях государь император удостоил своим присутствием бал, данный светлейшим для русских офицеров и польского дворянства. Встреча достойна была высокого гостя и хозяина-героя. Государь, входя в зал, невольно наступил на французские знамена, из которых (так я слышал) одно держал сам фельдмаршал и при входе великого посетителя невидимо преклонил из-за дверей.[4] Знамена эти на днях отбиты у неприятеля. Говорят, что император был восхищен этой встречей и обнимал фельдмаршала, одарившего его таким неожиданным торжеством. Польские дамы рассказывают также с восторгом, что князь в сей вечер был с ними любезен до бесконечности. «Не одних лавров достоин Кутузов, — говорили они. — Мы готовы поднести ему венки из лучших роз и мирт, сорванных в цветниках польских».

Там же, 14 декабря

Вильна покоится в долине, окруженной высотами и пересекаемой реками Вильей и впадающей в нее Вилейкой. Город не обширен, но красивее, многолюднее и живее многих губернских городов России. Сообщением окружных вод с Балтийским морем торговля здешняя процветает. Улицы здесь не широки; дома порядочной высоты и почти все каменные. Большая часть из них, особенно на главных улицах, построены под одну крышку. Зодчество церквей довольно величественно. Впрочем, я не видел здесь зданий, перед которыми можно бы остановиться с чувством удивления.

Достоинны здесь замечания Университет и Дом Милосердия: один обязан существованием своим монаху, другой – женщинам. Первый основан в 1570 году епископом Валерианом Протазевичем, утвержден королем Польским Стефаном Баторием, обновлен и возвеличен благодетельными щедротами императора Александра. Второй, учрежденный теми, которые везде и всегда составляют лучшую

отраду человечества, процветает неусыпными их попечениями. Девушки известнейших фамилий здешних не стыдятся, обходя весь город, просить милостыню для бедных, вверенных Богом доброму их сердцу, и относить к ним собранные подаяния. Чего в подобные путешествия не переносят нежные члены их от непогоды, от беспокойной мостовой, от обязанности сходить в мрачные, сырые погреба и влезать на чердаки, где обитают несчастные, требующие их помощи? Зато холодное, убийственное равнодушие не смеет встретиться с их взором, этим красноречивым ходатаем за человечество, кто не отдаст последнего за сей умоляющий взгляд, за одно слово, обвораживающее душу вашу?.. Путешественник, обзрев здешний Дом Милосердия, не выйдет из него, не заплатив сердечной дани этим благотворным существам, посланным на землю для утешения и благополучия нашего.

За городом, на острой высоте, есть примечательный памятник древности. Некогда в развалинах замка несколько русских, как сподвижники Леонида, защищались против мно-

гочисленных войск Казимира V, занявшего уже Вильну поляками, — защищались героически и погреблись под бойницами!

16 декабря

Здесьняя площадь представляет каждое утро вид военной ярмарки. Пестрота и волнение на ней необычайные! Тут грубые жители азиатских степей, татарин и калмык, носят на булатных стрелах своих Брекетовы и Нордтоновы часы; там проворный казак ведет на грозном аркане своем несколько английских лошадей; здесь тяжелый кирасир предлагает вам брабантские кружева и кашемирские шапки; далее живой егерь меняет кучу наполеондоров на русские ассигнации или усатый гренадер продает вам богатую звезду французского маршала; везде шныряют между ними оборотливые жида, получающие все эти вещи за полцены и менее. Можно судить по этому торжищу, как богата была жатва добычей, мечами собранных с неприятелей на бранных полях.

Ныне Вильна окуривается: на всех улицах дымятся пучки соломы для очищения воздуха

и предохранения города от заразы, могущей случиться от бессметного числа лежащих в округе и в городе мертвых тел. Всякий час умирает в госпиталях и домах множество пленных разных народов: их возят каждый день навьюченными санями за Вилью и Вилейку. Благодаря мудрым попечениям правительства жители и войска снабжены всеми средствами для защиты себя от прилипчивых болезней.

Здесь снаряжают несколько сот испанцев, одевают их чисто и тепло и ведут в Ригу для отправления оттуда на места их родины. Наполеон, в несправедливо начатой войне, захватив их близ Пиренейских гор, одел в свои легкие мундиры во Франции и послал на снега Севера воевать против русских. Александр, во брани Богом оправданный, сделав их своими пленными, снабдил всеми жизненными выгодами и возвращает ныне родителям детей, женам супругов, любви ее радость, дружбе ее утешение и сынов Отчеству.

Вильна, 18 декабря

Отечественная война кончилась; но слава ее должна во всем величии оживиться для нашего потомства. Не довольно, чтобы уста красноречивых старцев передали ее детям и внукам своим; мало еще того, чтобы резец и кисть по частям перенесли ее будущим поколениям и чтобы перо историка начертало ее на листах бессмертия, – ей необходим памятник, который, смеясь угрозам времени, переселял бы ее всю вдруг во взоры и сердца потомков. Блистательный дар красноречия, неизъяснимые прелести поэзии, обворожительная власть живописи и ваяния могут сильно действовать на чувства, науками утонченные, на умы, просвещением образованные и ко всему изящному приготовленные. Но могут ли они иметь такое влияние на умы и сердца простого народа? В состоянии ли тронуть ремесленника, работника и земледельца, вышедших из рук Природы с чувствами, хотя способными ко всему прекрасному и великому, но необразованными вкусом и науками? Памятник отечественной войны

должен быть красноречив для всех состояний. Надобно, чтобы он в одно время действовал на взоры и душу воина, вельможи, купца и селянина; чтобы все они умели *понимать* его величие и сближаться им со славой этой войны. Нужно, чтобы памятник этот соединял в одно время мужественные деяния сынов России, твердость духа ее государя и милосердие великого Провидения, в 1812 году столь явно покрывшего ее щитом своим. Воины-солдаты и воины-поселяне, защитники Отечества, ожидают такой памятник как свидетельство их храбрости, терпения и любви к родине; Россия просит его для монарха, хранителя ее свободы, имени и величия; народ, исполненный чистой веры, требует его для вечного воспоминания милостей Творца и изъявления ему чувств благодарности. Каким же произведением искусства исполнят вдруг надежду войска и граждан, мольбу России и требование народа? Сооружением величественного храма, посвященного имени Спасителя, украшенного изображением государя в минуту решительного его обета; окруженного трофеями нынешней войны и статуями умер-

ших на полях славы русских героев! Москва как славная жертва нынешней войны должна обладать и гордиться этим богатым памятником.

Мысль храма сего принадлежит генералу Кикину. Относя столь справедливо Богу успехи и славу отечественной войны сей (не отнимая славы деяний от войска и вождя его), со всей основательностью и красноречием описывает он явные благодеяния Небес и доказывает, что никакой памятник не может быть приличнее храма во имя Спасителя. Мысль счастливая, исполняющая общие желания и достойная быть приведена в действие! Говорят, что начертание сего храма представлено взорам государя императора; уже ласкают нас приятным для каждого русского слухом, что оно им благосклонно принято и будет вскоре утверждено.[5]

19 декабря

Неразлучный спутник Суворова по пути его побед и красноречивый их повествователь, почтеннейший Е. Б. Фукс (находящийся ныне при светлейшем) читал нам на днях отрывок, написанный им по случаю подаренной графиней Анной Алексеевной Орловой генералу Милорадовичу сабли, по многим отношениям драгоценной. Она пожалована была великой Екатериной покойному графу Алексею Григорьевичу за победу под Чесмой и ныне дочерью его прислана герою как дань благодарности за ограждение им от врагов праха родителя ее. В сем даре чувство детской привязанности соединилось с любовью к Отечеству – любовью, бывшей всегда наследственной в роде Орловых и особенно ими доказанной в нынешнюю войну бесчисленными жертвованиями всякого рода. Здесь нежная дочь явила себя истинной гражданкой. Оправдан выбор бессмертной государыни, и дух ее утешен!

Мысленно представляю себе тот миг, в который наш Баярд дает обет перед лицом неба

и войска освятить полученный им дар новыми славными подвигами. Одушевленные его чувствами воины клянутся водрузить русское знамя на земле неприятельской; все взоры обращены к драгоценному мечу; все уста, кажется, говорят:

*Веди нас сим мечом на новый по-
двиг бранный!*

*В борьбе кровавых битв ему пой-
дем вослед.*

*Залог, величием и красотою дан-
ный,*

Вернейший есть залог побед!

20 декабря

Часто в обществе военном читаем и разбираем «Певца во стане русских», новейшее произведение Г. Жуковского. Почти все наши выучили уже сию пьесу наизусть. Верю и чувствую теперь, каким образом Тиртей водил к победе строи греков. Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собой душу воинов! Желал бы даже спросить Певца, в какой магии почерпнул он власть переносить душу сию, куда он хочет, и велеть ей чувствовать по воле непостоянных прихотей его?.. Захочет – и я в стане военном, под покровом ясного вечера, среди огней бивуака, беседую с друзьями за круговой чашей о славе наших предков. Певец, настроив душу мою к какому-то унылому о них воспоминанию, вскоре ободряет ее, говоря, что память великих не слез, но подражания достойна. Велит – и я переносу сердце на милую родину,

*Страну, где мы впервые
Вкусили сладость бытия.
Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,*

*Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки:
Что вашу прелесть заменит?
О, родина святая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?
* * **

Там все, и проч.

Трогательное, сладчайшее воспоминание об Оте честве! Какое сердце, в самом деле, не дрожит, читая эти стихи? Надобно точно быть в удалении от милой родины, под непостоянным небом чужих земель, среди ужасов войны и под всегдашним надзором смерти, чтобы живо чувствовать всю прелесть этих стихов. Кто лучше нас, бездомных странников, ощущает всю красоту и силу их? Они невольно извлекают слезы и велят сердцу вырываться на кровавый пир против врагов Отечества и друзей незабвенных!

Все добродетели военные прелестью изображены поэтом: какой неизъяснимой силой влечет он подражать им! каким клеймом уничижения означен у него малодушный! Он не принадлежит к собратству храбрых; он

чуждый всякому русскому. Хотите ли видеть изображение истинного героя? Вот оно:

*Тот наш, кто первый в бой летит
На гибель супостата;
Кто слабость падшего щадит
И грозно мстит за брата!
Он взором жизнь дает полкам;
Он махом мощной длани
Их мчит во сраженьи врагам,
В среду шумящей брани!
Ему веселье – битвы глас!
Спокоен пред громами;
Он свой последний видит час
Бесстрашными очами!*

Читая изображение лучших полководцев нынешней войны, думаешь, что Певец в самом деле родился в шумном стане военном, возрос и воспитывался среди копий и мечей, сопровождал храбрых в грозные, кипущие битвы, замечал отличительные черты их мужества и ныне их воспекает. Какой воин, особенно родившийся под сенью кремлевских стен, какой воин не вскипит огнем мужества, внимая восторженному этим чувством Певцу? Неувядаемы цветы, которые бросает он на славные могилы Кульнева, Кутайсова и

Багратиона, и стонущие над ними звуки его лиры столько же бессмертны, как и дела их. Поэту знакомы, конечно, все прелести дружбы: для того-то он так хорошо описывает ее.

Многие говорят, что чувство сие более не существует на свете, — сделаю в его пользу небольшое отступление от предмета моего. Советую им заглянуть в стан военный: там верно увидят они дружбу, покоящуюся под щитом прямодушия и чести. Военным не знакома двуличная учтивость, светское притворство чуждо открытой душе их, низкое корыстолюбие было всегда их первым врагом. Когда храбрый воин подает вам свою руку, верьте, что он подает вам тогда сердце свое. Когда он говорит вам: будьте мне другом! тогда знайте, что он, для ваших нужд, готов вынуть последний рубль на дне своего кошелька; что он в пылу битв, не рассуждая об опасностях, не делая расчислений, станет за вас грудью и для сохранения вашего имени почтет жизнь свою должной жертвой. Оресты и Пиллады не чрезвычайные явления между военными. Если бы господа новейшие философы потрудились перешагнуть за порог мирного их каби-

нета и заглянуть в дымные бивуаки, где последний сухарь делится пополам для брата, где несколько воинов защищаются одним соломенным щитом от бурь и ненастья и часто одним плащом согреваются, если бы мудрецы сии последовали за храбрыми в борьбу грозных битв, где друг выручает друга из объятий смерти, то невольно признались бы они, что священное, великое чувство дружбы еще в свете обитает.

Но любовь – краса, богатство и награда воина – еще прелестнее в устах поэта.

Любовь одно со славой!

Пускай судьба сблизит два существа непостижимой тайной взаимности, пускай свяжет сердца их узлом чистых вечных наслаждений, познакомит их с блаженством земного и небесного рая – и тогда пусть отделит одно существо от другого, чтобы препоручить его опасностям брани, на защиту милой!

*Он смело, с бодрой силой,
На все великое летит!
Нет страха, нет преграды!
Чего, чего не совершит*

Для сладостной награды?..

** * **

*Отведай враг исторгнуть щит,
Рукою данный милой!..*

*Святый обет на нем горит:
Твоя и за могилой!*

И умереть приятно за ту, с которою нам так сладостна была жизнь!

*Когда ж предел наш в битве
пасть,
Погибнем с наслаждением!*

** * **

Из строфы «Доверенность ко Творцу» и следующей за ней можно составить прекрасный военный катехизис. Строфа «Но светлых облаков гряда» – самая картинная! Нельзя изобразить живее восход зари, час перед битвой, звук вестового перуна, тревогу в стане; невозможно лучше приготовить сердце к томной безвестности будущего жребия нашего – жребия, который развяжет на кровавом поле узел нашей жизни и счастливейших ее мечтаний. Время и место не позволяют мне разобрать все красоты «Певца», они бесчисленны! Труд сей принадлежит постоян-

ному обитателю мирного кабинета. Довольно сказать, что «Певец во стане русских воинов» сделал эпоху в русской словесности и – в сердцах воинов!

В. А. Жуковский прибыл теперь в Вильну с главной квартирой: делив с защитниками Отечества все трудности нынешней войны, он делит с ними здесь и славу. Мне сказывали, что он был опасно болен, но за молитвами муз и попечениями их лучший цветок Парнаса оживает. Чего не делает слава? Целая страна, целый народ плачут у болезненного одра великого человека, между тем как холодный долг роет каждый день могилы людей безвестных, и путник с равнодушием мимо них проходит!

Вильна, 22 декабря

Как прелестна полька! Покоится ли на роскошном диване: это Венера, ласкающая дитя любви на коленях своих, окруженная Играмми, Смехами и Негой, в час, когда ожидает к себе величественного Марса или нежного Адониса! Кружится ли в мазурке: это милая Флора, играющая с Зефиром! Собирает ли милостыню для бедных, скрывая род и прелести свои под флером скромности: это существо, которому в древние времена вознесли бы алтари! Полька одевается прелестно. Стан ее — стан нимфы: Купидон во младенчестве своем мог бы окружить его ручонками своими. Посмотрите на ножку ее: она вылита по форме ноги медицейской Венеры; она обута Грациями! Каждое движение польки есть жизнь, каждое изъяснение ее — душа! Никто скорее ее не оживит скучного общества, никто, конечно, скорее не воскресит мертвых чувствований нелюдима и не образует по-своему сердца каждого мужчины. Пустите в круг живых полек молодого человека, вышедшего из рук природы неловким, необразованным, хо-

лодным к изящному, — и вы увидите, как он переменится в школе сей, вы увидите, как развернутся в нем ум, дарования и чувства! Нередко случалось, что ненавистник мрачных лесов Польши оставался умирать под тенью липы, осеняющей дом какой-нибудь милой сарматки...

Вот портрет польки, наскоро снятый с природы! Жалею, что должен его испортить, сказав то, что я слышал о нравственности их. Я повторю здесь чужие слова, собственных моих замечаний на сей предмет не успел я еще сделать.

Польки воспитываются для общества, а не для домашней жизни, не для супруга. Кажется, их образуют для того только, чтобы блистать в большом кругу, водить за собой толпу поклонников и греметь наружными достоинствами. Делать счастье *одного* есть удел немногих из них. Ветреность, непостоянство суть отличительный их характер. Нигде нет столько разводов, как в Польше. Сколько здесь женщин, которые, разведясь с двумя мужьями, выходили за третьего; сколько таких, которые новыми супругами куплены у ста-

рых за высокую цену!..

Сказал бы более, но всех злоречивых толков не перескажешь!.. Довольно и сих черных оттенков, чтобы испортить мою картину.

О, истина! Зачем пришла ты своею мрачной кистью замарать блестящие краски, наложенные мной в восторге чувств моих?..

24 декабря

Я должен, конечно, благодарить судьбу, указавшую мне ныне бросить якорь мой в Московском гренадерском полку. В Молдавии его иначе не называли, как храбрый Московский полк. Офицеры и солдаты его дерутся как львы. Бессмертный Суворов любил его: на берегах Требио и под стенами Нови подарил он сему герою и Отечеству французские знамена. Базардчик еще с трепетом говорит о нем. Бородино видело его ужасные потери и славные подвиги. По случаю перевода моего я должен был прибегнуть к начальнику главного штаба генералу Коновницыну. В шесть часов утра был я у него с бумагами. Дверь кабинета храброго генерала не есть дверь приемной праздного вельможи, она отворяется

тотчас по слову «нужда». Адъютант его, Павленко (достойный находится при таком начальнике), ввел меня к нему немедленно. Если бы я и не приготовлялся идти к известному воину, то подумал бы, что пришел к мудрецу: так поразило меня умное, тонкое его лицо! Нет, Лафатер основал науку свою не на одних мечтательных догадках! Когда вы сокрыли бы для физиономика деяния Коновницына во мраке неизвестности, тогда одна наружность сего генерала возбудила бы в душе наблюдателя то уважение, которым Россия уже давно приносит дань военным и кабинетным дарованиям храброго искусного полководца и неутомимого начальника главного штаба.

М. Меречь, 1 января

Наступил новый год. Сколько слез, сколько благословений сопровождали старый в бурном его течении! Какой же данью почтят славный его конец? Приношением сердечной благодарности к престолу Вечного, испытавшего умы и душу России в горниле несчастья и поставившего ее потом, во всем блеске, на неколебимую высоту: да пройдут мимо века, и час разрушения миров застанет ее не изменившуюся в величии своем. Монарх России первый показал пример сей благодарности. В маленьком местечке Мерече, на берегу Немана, Повелитель народов и вождь победоносных его войск, в сердечном умилении, слагали земное величие у подножия Царя Царей и славу протекшего года приносили ему в дань: Богом дарованное Богу возвращали!

Всевышнему угодно было неизвестное местечко, бедный, смиренный храм избрать местом торжества Своего Могущества и Благо-

сти для того, чтобы яснее показать всю тщету человеческого величия. Началось моление, исчезли титулы, земные отличия забвенны, и человек предстал пред Лице Творца своего в ничтожестве смертного. Мрачная картина прошедшего представилась его взорам; пожары, плен, болезни, сама смерть в бесчисленных видах явились перед ним со всеми ужасами прошедшей войны; он увидел себя в братьях своих, изнемогших под бременем нужд и страданий; он узрел себя в тысячах островов, по снегам разбросанных, и с чувством уничижения, со слезами благодарности обратился ко Всеблагому, вынесшему его из среды сих бедствий. Молитва нынешнего дня есть трогательное раскаяние тех, которые в слепоте своей не постигали Руки Промысла, и чистая, сердечная дань сынов, верных Его определениям.

Я встретил Новый год в глухую полночь, на жесточайшем морозе, среди улиц бедного Мереча. Главная квартира насилу в нем умещалась. Ни одного уголка, где преклонить и согреть бы замерзшие члены мои! Я точно походил на странствующего рыцаря печального

образа. Санчо-Панса мой считал на небе ясные звезды, а мои Россинанты уныло смотрели на голую, снежную равнину. Не знаю, что было бы со мной, если бы конногвардейский вахмистр, находящийся при светлейшем, не отворил мне двери своего сердца и бедной своей хижины. Входя в нее, я думал, что вступаю в храм, гостеприимству посвященный. Русский солдат угощал от души русского офицера. Чайник закипел, и я, казалось, принял новую жизнь. Мой Санчо-Панса и лошади мои не были забыты. Теплый угол для меня расчищен, постлана свежая солома и положена подушка, взятая хозяином от собственного изголовья. Я бросился на эту роскошную постель и, слушая солдат, рассказывающих о доброте души светлейшего и о любви их к нему, заснул слаще всякого Лукулла. Поутру хотел было я, в знак благодарности, сунуть безделицу в руку доброго вахмистра; но он ничего не принял, считая обидой платеж за гостеприимство.

М. Лик, 9 января

Царства, как бы от сна, пробуждаются. Северная владычица указывает им на свое величие, и Пруссия, одушевленная славным ее примером, первая дружелюбно протягивает руку России и молит ее: да соединясь твердым единодушием, сокрушат они колосс честолюбия, обогранный кровью миллионов людей, и на развалинах его да воздвигнут мирным добродетелям храм, который Небесами сохранится для будущих веков. Какой народ не любит восстановления своего имени? Какой пленник, оковами отягченный, не восхищается надеждой свободы? Велик народ, в трудной борьбе с неровными силами сохранивший всю славу своего имени; почтен и тот, который, потеряв это имя в бурю политических обстоятельств, при первой благоприятной возможности спешит ополчиться всеми силами и средствами своими для восстановления его. Справедливый историк нынешних времен возвестит потомству, что Россия первая указала царям и царствам путь к свободе и славе; что Пруссия первая смело шаг-

нула на этом пути и посмеялась игу, которым отягчена была вместе с половиной Европы. Уже граждане и воины прусские единогласно кричат: «Мир с русскими; война французам!» Уже король желанием своим спешит, кажется, навстречу требованиям войска и народа.

Мы идем теперь то Польшей, то Пруссией. Жители последней принимают нас, как долгожданных друзей. Государь не успел ступить на границу Пруссии и приобрел уже искреннюю любовь здешних жителей. В городах почтенные инвалиды приветствуют его от души громким «Ура!», граждане называют его своим избавителем, а прекрасные женщины усыпают цветами путь скромного победителя. В деревнях без боязни толпятся около него добродушные поселяне и сопровождают его своими благословениями. В проезд императора через прусскую деревню один девяностолетний старик, глядя на него, залился слезами. «О чем плачешь ты?» – спросили его русские офицеры. «Плачу от радости! – отвечал он. – Кто видел великого Фредерика под Цорндорфом, когда он вел наш Лихновский полк к победе, и кто видел великого Александра, на-

поминающего нам, что мы пруссаки, тот может умереть с удовольствием».

Через день старик и в самом деле слег в постель и (так рассказывали идущие за нами) умер вскоре, как померкает тихая заря вечера, сопровождая солнце в величественном его течении.

Перейдите рубеж, разделяющий Польшу с Пруссией, и новая, приятная картина представится вашим глазам. Там много дает Природа; здесь Природа не скупее, но трудолюбие умеет к щедротам ее примешивать свои награды. Мы простились уже, кажется, с ужасными лесами, в таинственном мраке которых терялись подобно древним друидам; простились и со степями, на которых утомленный взор насилу находит бедную деревеньку. Здесь, напротив, мало лесов, и те, которые растут, можно назвать не иначе, как только рощицами. Поля же так населены, что на каждых двух верстах встречаешь прекрасные деревни. Почти в каждой из них найдете трактир, хотя не богатый, но в котором можно иметь кофе, хорошее масло с белым хлебом и порядочные bratwurst, сосиски. Каждый

трактир имеет свою вывеску, украшенную разного рода животными и знаками, которыми небеса, земля и воды изобилуют. Очень часто осел на вывеске заманивает вас к своему обладателю парой стихов с богатыми рифмами, которые могли бы украсить поэмы новых Третьяковских. Вы видите, что и здесь есть ученые между четвероногими. Деревенские дома окружены садами и выглядывают из них только белыми трубами своими. Внутренность их совсем не похожа на внутренность польских хат. Какая в них чистота, какой порядок! Изба просторная, очаг в ней выбеленный, посуда поставлена в большом порядке в нескольких рядах за прибитыми к стене дощечками, составляющими род открытого шкафа; вся кухня в особенном сбережении. Я не нахожу ничего лучше (разумеется, для езды солдатской, а не путешественника) здешней езды на крестьянских высоких и огромных телегах, на которых стелется военная постель – солома. Их везет доброй рысью большая, могучая пара лошадей, заменяющая вам шесть или более кляч польских.

Иогансбург,[6] январь

Небольшое местечко! Сейчас угадаешь по чистоте, по выбеленным домам с крышками из черепицы, что местечко это принадлежит пруссакам. Новые нравы, новые обычаи, и признаюсь, в пользу немцев! Я стою теперь у ремесленника. Дом разделен на две половины: в одной мастерская и кухня, в другой гостиная и спальня нежных супругов. Внутренность последних убрана хорошей мебелью. Ничто не блестит в них, но всякая вещь нравится глазам, потому что всякая вещь на своем месте, каждая безделица показывает искусство, трудолюбие и порядок. На стене висят часы, напоминающие обитателям дома о времени работы и отдохновения.

У дверей стоит скромный клавесин и ожидает, чтобы прелестные пальчики хозяйки дали ему жизнь и душу. На окошках в глиняных вазах цветут резеда и гвоздика; в уединенном углу комнаты отдергиваю маленькую зеленую занавеску и нахожу Библию, молитвенник, Геснера и Гёте. На стенах висят картины, представляющие разные черты из жизни лю-

бимого короля прусского. Там великий Фредерик с пронизательными взорами, с длинной косой за плечами, на бешеном коне разъезжает по полям Росбаха и дарит заранее полки своей победой. Здесь видите, как неприятельский Пандур прицелился в него; но, заметив, что король хладнокровно грозитя на него своей тростью, он опускает ружье и становится неподвижным от страха. Вот и прелестная королева Луиза: она улыбается вам улыбкой ангела. Тут не забыт и Суворов наш, переходящий Чертов мост. Не удивляюсь, находя образ его в почтении у чужеземцев. Великие люди принадлежат всем векам и народам!

Не требуйте к себе хозяина дома. Он сидит в своей мастерской и не беспокоится ни о чем, как о работе своей. Нахлобучив колпак на голову, в кожаном своем фартуке, не выпуская трубки изо рта, протягивая иногда руку к огромному стакану пива, перед ним неизменно стоящему, флегматически распевая любимую песенку, он в определенные часы трудов глух, слеп и нем для всего постороннего. Поработаю несколько времени боль-

ше обыкновенного – думает русский – и заготовлю хлебосольцам моим более мяса, меду и браги! «Лишний час труда, – говорит немец, – и лишнее украшение в моей комнате!» Но вот дочь хозяина, миловидная немочка, в белом платьице, завешенном черным тафтяным передником. «Нужен ли вам кофе?» – и прелестная подает вам его с белым прекрасным хлебом. Настает ли час обеда – и та же красавица поспеваает на кухне, помогает матери в стряпанье, накрывает на стол, снова сбегает на кухню, в погреб и потом без суеты, без рассеянности угостит вас как нельзя лучше. Она же после обеда сыграет вам на клавишине отзвучную тирольскую песню или какой-нибудь приятный вальс; потом сядет за рукоделье или побеседует с героями любимых ее романистов, Коцебу и Лафонтена; а вечером – готова на бал!

Вот каковы дочери немецких ремесленников! Вы удивляетесь? Но последуйте за мной на бал, который дает принц Мекленбургский Карл прекрасному полу Иогансбурга, и вы принесете новую дань удивления к ногам милых немочек. Здесь не рассылают проситель-

ных билетов, не нужно мучить толпу слуг для раздачи их по домам; но довольно двух-трех уведомительных слов бургомистру, довольно сказать: «Русские офицеры просят город на бал» – и неприхотливое общество города у вас на вечеринке в назначенный вами час. Почетные семейства Ландрата и бургомистра, пасторские дочери, дочери здешних купцов и ремесленников, две-три девушки из уезда с матерями своими или родственницами составляют не блестящее, но приятное общество сие. Все так пристойно, с таким вкусом одеты, так ловко танцуют, так умно вас занимают, что вы забудетесь и станете мечтать, что находитесь в порядочном круге московском. Некоторые из девушек, принадлежащие к семействам начальников уезда и города, говорят очень хорошо по-французски.[7] Но что вообразите вы о дочери какого-нибудь седельника или портного, когда русский генерал в нескольких звездах поднимет ее на танец? Вы думаете, что она оторопела, смешалась от застенчивости, не знает, что делать, что сказать ему? Напротив, она сама заводит с ним разговор, находит случай изъяснить ему

свою благодарность, вплетает туда же какую-нибудь милую похвалу героям Севера, умеющим побеждать и веселиться, и очаровательной силой переносит его в царство любви. Еще повторяю: вот каковы немки! Мы только что успели их узнать и уже в восхищении от них!

Цеханов, январь

Опять в Польше! Где скрыться от роя жидов, скучающих вам предложением тягостных услуг? Скоро ли перестанет возмущать душу вид польских крестьян, падающих к ногам вашим и беспрестанно обнимающих ваши колена? Мне кажется, что я с цветущих лугов, где веселье и свобода кружатся в хороводах, перенесен в болота непроходимые, в которых томятся несчастные путники жизни, туда сердитой рукой Судьбы заброшенные. Проходя здешние места, пробегаешь будто бы мрачные страницы из истории феодального правления средних веков, картина которого и в описании возмущает душу. Хотя просвещение вводит сюда понемногу любовь к человечеству; хотя оно говорит сильным и знатным

в пользу прав его: но встречаемо на пути своем корыстолюбием и слепой любовью к частной выгоде, оно не может делать больших успехов. И донныне человек не стыдится считать подобного ему *вещью*, не краснеет, видя его ползущим у ног своих, как пресмыкающееся животное! Не спрашивайте о нравственности здешнего народа – существует ли она там, где ею торгуют? Здесь нет ни одного селения без корчмы, или просто все здешние селения можно назвать корчмами. Большая часть помещиков в деревнях своих занимаются торговлей хлебным вином, отдают крестьян на *упой* жидам и подстрекают таким образом невоздержанность тех, за нравы которых должны отвечать высочайшему правителю. Надобно искренно жалеть о стране, где золото ценится дороже добрых нравов, составляющих душу и силу царств. Раскрываю Робертсона и кстати выписываю из него несколько строк, меня поразивших: L'état le plus corrompu de la société humaine est celui où les hommes ont perdu leur indépendance et la simplicité de leurs moeurs primitives, sans être arrivés à ce degré de civilisation où un sentiment

de justice et d'honneur sert de frein aux passions féroces et cruelles. *Tableau de L'état de L'Europe, t. I, p. 27.*[8]

Плоцк, 30 января

Гордая Висла молчит, пропуская через себя каждый день несколько тысяч русских. Природа и политические обстоятельства принуждают ее к этому молчанию. Маршал департамента Плоцкого и предводитель здешнего ополчения, генерал Е... кий, вздумал было представлять лицо Демосфена, витиеватыми речами возбуждая народ к единодушному вооружению против русских; но не получив в удел красноречия афинского оратора, он имел с ним одинокую участь полководца. Демосфен бежал с поля сражения, узрев мечи храбрых македонян; Е... кий поспешно скрылся из своего дома, завидев издали копыта донских казаков. Соловей этот вздумал было петь красное солнышко весны тогда, когда бури осенние шумели над опрокинутым его гнездом, и никто за мрачной непогодой не слушал его песни.

Благородно всякому гражданину мечтать о

восстановлении имени своего отечества. Но страна, искавшая для этого скрытных, непозволенных, далеких средств; страна, где знатность, пользуясь всем и всем управляя, единственно о себе думает, где народ пресмыкается в ничтожестве и где не существует среднего состояния, — страна эта не могла льстить себе и тенью прежнего ее величия.

В Польше только три состояния: дворянство, духовенство и земледельцы; чуждый народ жидовский составляет в ней четвертый, средний класс. Какое необозримое между ними расстояние! Какое между ними различие мыслей и чувствований! Какой ужасный перевес первых двух состояний, между собой тесно связанных одинаковыми желаниями честолюбия против третьего, который кажется от них совершенно отброшенным! Где кольцо, связывающее эту разорванную цепь?.. Магнат вздыхает о царском венце; епископ, родственник или друг помогает мечтам его своей властью; торговец-еврей, считая своим отечеством лавку свою и дом, не мыслит никогда о выгодах Польши; крестьянин, под игом бедности, горюет о прежнем до-

вольстве. Честолюбие одних, корыстолюбие других, угнетение третьих могут ли соединиться для общей пользы?.. В Польше главная политическая пружина есть дворянство; но она действует для собственной силы и величия. Сколько знатных, ласкающих себя надеждой царствовать при первой благоприятной для них перемене; сколько имеет каждый из них родственников, друзей, приверженных, подкупленных, послушных, составляющих тысячи партий! Какая сила соединит их различную волю, различные желания, мысли и чувства в одну цель – великую цель счастья отечества? Разве мудрый оборот правления может произвести это чудо; разве исчезнет в польских дворянах дух честолюбия и заменится истинной любовью к отечеству, народ насладится лучшей участью и, воспользовавшись природными силами и богатствами, родит в собственном классе земледельцев среднее состояние: до того времени Польша останется тем, чем была уже несколько лет, – покорной чуждым державам страной.

Деревня Здворж, 3 февраля

Цвет русского войска – гвардия и гренадеры – расположились на временных квартирах около Плоцка. Первыми попечениями главнокомандующего – сбережение здоровья и покой русских героев. Свободная и теплая одежда была им позволена на походе во время жестоких морозов; на стоянках желает он, чтобы они веселились на широких, спокойных квартирах. За то офицеры и нижние чины любят светлейшего, как отца своего. «Родной батюшка Суворов воскрес в нем, – говорят солдаты. – Князь знает все нужды наши. В деле любит, чтобы мы его тешили, а после дела сам не забывает нас». Можно сказать, что привязанность к нему солдат примерная; она доходит до восторга. Неудивительно! Все уже несколько десятков лет знакомы с его личной храбростью; уже несколько десятков лет привыкли стремиться, по быстрому и спокойному взору его, к опасностям и славе. Могли ль они забыть неусыпные о них попечения его в течение прошедших и нынешней кампаний? Почти каждый из них знает его в лицо; мно-

гие имеют счастье нередко говорить с ним. Иной рядовой ему кум, другой крестовый брат, третий приятель. Тот помнит, как жарко было такое-то дело, как ненастны были бивуаки в таком-то месте; этот мастер рассказывать о веселостях молдаванских; а этот славно выручил своих товарищей в таком-то сражении. Все осыпаны его ласками и благодеяниями. Мало того, чтобы полководец умел приготовить войну и сделать ей распоряжения, чтобы он в день битвы владел быстрым взором и спокойно умел встречать ее опасности; надобно еще, чтобы он обладал волшебным искусством приближать и привязывать к себе простого воина. С искусством этим он будет располагать по своей воле мышцами, умами и сердцами солдат; с ним поведет он горсти против тысяч и приучит победу ступать по следам своим. Искусством этим владели Тюрень, Фредерик II и Суворов; оно досталось ныне Кутузову вместе с мужеством и проницательностью их. Французский маршал не прославил бы столько царства лилий, если бы не разговаривал с солдатами, как отец; прусский король не вел бы семилетней

войны и не расширил бы границ своего отечества, если бы не беседовал на бивуаках с нижними чинами, закуривавшими его табачным дымом; герой италийский не шагал бы так смело по Альпийским горам, если бы не едал с солдатами простой кашицы. Так и кумовство и крестовое братство с ними князя Смоленского сблизили еще более родство его со славой!

Д. Здворж, 5 февраля

Четыре, пять хижин на берегу озера, обременного дикими утесами, кругом огражденного мрачным лесом – вот наше теперешнее жилище! Ничто светское не смеет нарушить молчание сей пустыни; только ветер, волнуя гордые главы сосен, разликает около нее глухой стон; только отзыв топора в ней изредка отдается, или охотник, гоняясь по утесам за робкой козой, прерывает тишину этих мест. Два любовника, заключающие весь мир в самих себе, или наскучивший суетами мудрец не могли бы найти уединения, более сходного с их чувствованиями. Сколько раз претворял я пустыню эту в жилище счастья

мирного и неизменного! Сколько раз мечтал я об этом счастье, разделяемом с нежным другом! Здесь, – думал я, – можно трудиться для света, не будучи знаком с его шумом и суетами; здесь часто твердил любимое изречение мое:

*C'est aux champs que le coeur cultive
son bonheur!*

Но что может мечта перед опытом – мечта, которая как весенний ветерок ласкает челн по гладкой поверхности вод и вскоре уступает могуществу грозной бури, в бездны его погружающей?..

По препоручению начальства был я на днях послан в Плоцк. Ночь застигла бы меня на коне в семи верстах от города, если бы форштмейстер здешнего округа не предложил мне гостеприимства под уединенным кровом своим. Приязни его и ласк любезной его супруги никогда не забуду.

Плоцк застал я шумным и многолюдным от расположенной в ней главной квартиры государя императора. Город сей можно назвать прелестным по площадям его, из кото-

рых одна представляет вид вечной ярмарки, а другая, окруженная красивыми зданиями и обсаженная высокими тополями, составляет приятное гульбище; но более можно назвать его прелестным по местоположению его на возвышенном, крутом берегу Вислы. Зима лишает его ныне лучших его прелестей. Когда придут красные дни и весна воскресит Природу; тогда ближайшие виды с берега должны быть полны жизни и красот романтических.

Г. Калиш, 12 февраля

Чем ближе к Германии, тем чаще видим хорошие города. Искусство, трудолюбие и вкус, которые старалось ввести в них прусское правительство в то время, когда они ему принадлежали, не успели еще в них совершенно исчезнуть. Калиш посредственной величины городок и довольно красив. В нем есть кадетский корпус.

Поле за городом достойно особенного замечания. На нем первого числа нынешнего месяца генерал Винценгероде славно отомстил французам изменческий плен своей совершенной победой над генералом их Ренье. На том

же самом месте 18 октября 1700 года Меншиков с учениками воинами дал жестокий урок шведам, учителям нашим в искусстве сражаться: генерал их Мардефельд был тогда совершенно разбит и взят в плен. Здесь Гений Великого Петра, через пространство целого столетия, подает руку Гению Александра. Думают, что на этом поле утвердятся к западу границы обширной Русской империи. Где Авача и где Калиш?..

Там же, 15 февраля

Вчера, гуляя за мелькающими роями Граций по дорожкам прекрасного бульвара, усыпанного желтым песком, опущенного зеленеющим дерном, осененного высокими тополями, прельстился я вывеской трактира, стоящего на углу этого бульвара. На ней золотыми буквами начертано: Hôtel de Paris. Столица Франции не одного меня прельщает – кому не хочется в Париж?.. Вхожу в зал, в котором накрыт стол человек для тридцати. Рои офицеров шумят в разных сторонах. Я присоединяюсь к одному знакомому, недавно вышедшему из ополчения; расспрашиваю его о

старых моих приятелях и среди разговора сажусь с ним рядом с молодым поляком, на софе раскинувшимся. Поляк был щегольски одет и тысячью духов распыскан; конфедератка с серебряными кистями и узорами лежала рядом с ним. Он часто поправлял усы свои, столь же часто смотрелся в зеркало, напротив его висящее, и потом с пренебрежением оборачивался на моего товарища, который в порыжелом от бивуачного огня сюртуке, с медной при бедре саблей, с длинной трубкой во рту не обращал на него никакого внимания. Быть так щегольски одет, как был снаряжен наш Сармат, и не заслужить от бедного русского офицера ни одного взора удивления, ни одного лестного слова, казалось ему чем-то чудесным. «Вы меня закуриваете табаком!» – сказал он моему товарищу с досадой. «Простите!» – отвечал этот очень хладнокровно. «Вы служили, конечно, в милиции?» – начал снова первый, перебивая некстати нашу речь. «Служил; а для чего вам это?» – отвечал второй, обратившись совершенно к своему противнику. «Ополченные очень мало делали в нынешнюю войну». – «Больше, нежели

польская милиция, и столько, сколько требовало от них Отечество». – «Говорят, что они во время сражения подбирали мертвые тела». – «Только не своих, а французов и также поляков. Настоящее, правильное войско занято было поражением полумиллиона врагов; временно оставалось возносить им могилы, чтобы будущие века взирали на них, как на памятники нашей славы и позора народов, считавших за честь быть в рабстве у Наполеона. Но позвольте вас спросить, почему вы догадались, что я служил в ополчении?» – «По вашей сабле». – «По сабле? Это довольно смешно! Правда, что она нехороша снаружи; но потрудитесь взглянуть на ее клинок. Прошу господ офицеров также посмотреть на него». Все бывшие в зале обратились к любопытной сабле. На одной стороне клинка вырезано было: «От деда внуку»; на другой: «При осаде Праги взята у польского полковника». «Ура! Ура!» – закричали все предстоящие офицеры. «Ура!» – разнеслось по всем комнатам. «Знайте, господин щеголь! – продолжал торжествующий товарищ мой, подавая поляку блестящую его конфедератку. – Знайте, что

наружность часто обманчива: не все то золото, что блестит; не все то достойно презрения, что носит на себе печать бедности. Прекрасное мщение!»

Я посмеялся от всего сердца и, обнимая любезного победителя, обещался ему поместить это приключение в моих записках. Исполняю мое обещание тем охотнее, что могу описать это происшествие дать маленький урок модному самолюбию.

Г. Калиш, 12 марта

Отправляюсь сейчас на берега Балтийского моря через Познань, Франкфурт и Берлин. Путь неожиданный, сулящий мне тысячу удовольствий! Я назначен шефским адъютантом к принцу Мекленбургскому Карлу и сопровождаю его на место его родины. Государь император дозволил ему насладиться временем настоящего спокойствия посреди его семейства, которого он давно не видел.

Дорога наша до Гамбурга очищена от врагов. Молодой герой Чернышев водружает уже русское копьё на берегах Балтийского моря. Покойно и приятно ехать по пути, освящен-

ном трофеями нашей славы! Бегу на почту – и прощаюсь с Калишем.

Г. Познань. 14 марта

Удовольствие привязало нам крылья, и мы прилетели в Познань. Я успел на него только взглянуть и могу сказать: прекрасный, цветущий город! Уверяют, что Варшава обширнее, величественнее и многолюднее; но Познань красивее и правильнее. Неудивительно: прежняя столица Польши, нося на себе печать древнего ее великолепия и могущества, означена притом мрачным клеймом политических неурядиц, столько лет ее терзавших. Познань, недавно ожив[9] попечениями благодетельного прусского правления, каждый день более и более украшаясь и обогащаясь, дышит свежестью и красотой весны своей. Первую можно сравнить с важной старушкой, горюющей в мраморных своих палатах о потерянном венце и прошедшей славе; [10] второго уподобить можно прекрасному юноше, с улыбкой зовущему вас любоваться милостивыми зданиями и садами, которых он счастливый обладатель. Хвала и честь

правлению прусскому! Ему обязан Познань (как и все польские города, бывшие в управлении у пруссаков) нынешним цветущим своим состоянием. Между разными выгодами, дарованными Пруссией этим городам, можно считать не последним для них благодеянием суммы, на несколько лет им отпущенные. Деньги эти употреблены на построение домов по новейшей и самой правильной архитектуре. Не знаю, чувствуются ли эти милости!..

Мы нашли Познань чрезвычайно шумным и веселым <городом>. Причина тому – ярмарка, которую застали мы во всей ее живости. Германия и Польша снабжают ее своими изделиями. Пока принц был у графа Воронцова и пока переменяли наших лошадей, мы гуляли по площади, на которой сосредоточена вся ярмарка; заглядывали в подвижные лавки и палатки, украшенные разными товарами; любовались богатыми образцами и красивыми вывесками, волнующимися почти над каждым окном; перебегали взорами с предмета на предмет, с прекрасного на полезное и терялись, наконец, в шумном рое многолюд-

ства. Ничто не представляет живее деятельности нашей, как ярмарка. Зрелище, полное жизни и удовольствия! Тут видите вы промышленность с живыми взорами, с тонкой улыбкой, предлагающую вам богатые дары свои. Там представляется вам трудолюбие, согбенное под тяжестью рукоделий своих и земных избытков; оно ожидает покупателей, которые могут облегчить его бремя. Здесь искусство прельщает вас тысячами приятных безделок, тысячами полезных вещей и заставляет вас преклонить колено перед творениями всеобъемлющего ума. Далее корыстолюбие, со впалыми глазами, с иссохшим, желтым лицом, простирает объятия свои к блестящему металлу, звенящему в руках ваших. Тут встречается с вами любопытство, за которым ходит зевающая праздность. Там же слышны и вздохи робкой бедности. Но вот и главные лица ярмарки – богатство и роскошь! Они обращают на себя внимание всей толпы, везде поспевают и все оживляют магическим жезлом своим.

С площади пошли мы в трактир на бульваре, где ожидали нас наши повозки. Оттуда

любовались природой, расцветающей на прекрасной, тенистой аллее; дышали ароматом, приносимым к нам ветерком с липовых вершин, и слушали веселое пение птиц, славящих весну. Но в комнате ожидало нас новое, прелестнейшее зрелище. Три весенние розы, три Грации (дочери хозяина дома) резвились между собой в ожидании, конечно, шалуна Зефира или плутишки Амура. Жестокие! Они отняли у нас весь аппетит, и мы из-за вкусного стола встали почти голодные. Но беда ведет за собой другую беду! Я хотел удалиться от опасных красавиц, прибежал к почтовой коляске, которая должна была раскидать по пути мои новые чувства; искал плаща, в котором хотел скрыться от прелестных, и не нашел его: какой-то проворный еврей успел стащить его и скрыться со своей добычей.

О, вы, которые путешествуете с тощим желудком, легким кошельком и нежным сердцем! Не заезжайте в Познань в трактир, стоящий на бульваре, и не заглядывайтесь так на красавиц. Эти блестящие созвездия принесут вам несчастье. Через них потеряете вы охоту к пище, лишитесь мантии и спокойствия на

целую дорогу!

Штернберг, 15 марта

Воля твоя, красноречивый Руссо! А просвещение золотое дело. Загляни в палатки کوچующих татар, пробеги польские местечки, побывай в немецких городах – и скажи потом, где захотел бы выбрать постоянное твое жилище? Верно, в последних! Нравы, образ жизни, все принимает здесь отлив просвещения, и все восхищает вас. Пока запрягают нам в повозку лошадей, мы любуемся из окна прелестной группой немочек, берущих воду у красивого фонтана, который стоит среди площади. Вода бьет из четырех львиных пастей и падает в круглый, чистый бассейн, высеченный из дикого камня. Весь город довольствуется ею из этого фонтана. Правда, что он меньше всякого нашего уездного городка, но зато многолюднее и в тысячу раз красивее; здесь почти все дома построены под одну крышку. Содержатель почты сказывал мне, что одна площадь составляет часто целый немецкий городок, но что таковые города встречаешь здесь почти на каждых десяти

верстах и менее. Народ, не говоря уже о высшем и среднем состояниях, очень чисто одет; мужчины носят синие кафтаны посредственного сукна, длинные камзолы такого же или красного цвета, лосинные исподние платья, пестрые бумажные чулки и башмаки с огромными светлыми пряжками; волосы у них подобраны назад под роговой гребень; треугольная шляпа венчает это изображение. Служанки, которых видел я у фонтана, все чисто одеты, в белых кофтах и юбках, прикрытых черными передниками. Голова у них искусно обвязана черным шелковым платком и прекрасно оттеняет белизну их лица.

Почтовые дворы здесь прекрасны. Входите в контору, показываете подорожную, платите назначенные за каждую милю деньги и получаете сейчас лошадей. Правда, почтовая езда здесь чрезвычайно дорога: за 3 мили, нашу 21 версту, платите около трех рублей серебром на пару лошадей; сверх того берут с вас установленные за каждую станцию Schmiergeld, Trinkgeld (на смазку колес и на водку) около серебряного рубля: зато нет притязаний, нет придирок, жалоб и ссор, случающихся на на-

ших почтовых дворах. Езда по здешней почте не самая скорая и не тихая: на каждую милю назначен час езды; зато вы не имеете нужды томиться по три часа или более в почтовой избе. На немецких почтовых дворах все выгоды предоставлены путешественнику: вы можете потребовать кофе, обед и ужин, можете иметь и чистую постель в теплой покойной комнате. Притом в каждой городке есть два-три порядочных трактира.

Франкфурт-на-Одере, 16 марта

Давно ли от ярмарки, и опять уже на ней! Познанская и Франкфуртская подают дружке руку. Купцы, особенно оборотливые жидаы, ездят с той на другую, с этой опять на ту, смотря по их выгодам. В дороге встречали и обгоняли мы огромный фуры с товарами. Длинные повозки, покрытые холстиной наподобие палаток, из которых выглядывали жидовские засаленные шапки, немецкие чистые чепчики и смешные треугольные шляпы; высочайшие телеги на двух высочайших колесах, окованных железом для вечности; странная упряжь гусем четырех, пяти и до шести

могучих лошадей, окутанных огромными хомутами с медными бляхами, погремушками и разноцветными лоскутами: все это веселило нас на пути.

Во Франкфурте мы только что переменяем лошадей, и потому видел я его мельком. Все, что могу сказать о нем, будет сказано в его пользу. Улицы в нем широки и правильны; чистота на них чрезвычайная. Дома высоки и, как во всех иностранных городах, построены под одну крышку. Всеобщая торговля его с Берлином, Данцигом, Варшавой оживляет его и делает одним из богатейших городов Германии. Широкий Одер, служащий ему зеркалом, покрыт ныне многочисленными судами. Мост его разрушен французами. Чрезвычайная живость видна на другом берегу, обсаженном деревьями, под тенью которых гуляют веселые пары и кипят шумные толпы воинов, купцов, ремесленников и крестьян. На площадях и улицах настоящий маскарад: там не один народ, но несколько народов! Все движутся, как муравьи, переносящие магазины свои из одного дупла в другое; все шумит, как рой пчелиный, нашедший для сотов

СВОИХ НОВЫЙ ИСТОЧНИК БОГАТСТВА.

Деревня Фогельсдорф, 17 марта

Вообразите себе чистые, гладкие дорожки Английских садов – и можете после этого иметь понятие о дороге, ведущей от Франкфурта к Берлину. Нигде не видел я подобной. Ровна, как поле, с небольшими от середины скатами; окружена с обеих сторон глубокими рвами и обсажена высокими тополями! Через каждый малейший ручей, малейший овраг сделан каменный красивый мостик. Близ рвов лежат частые груды камней, которые, будучи разбиты на мелкие части, брошены в появившиеся неровности и раздавлены тяжестью колес, содержат дорогу в постоянной исправности. Шоссе эти препоручены смотрению неусыпных работников. Правление не имеет нужды выдавать деньги на разные издержки, требуемые для содержания таковых дорог; все это делается за счет проезжающих. На каждой миле вам заграждает путь небольшая застава, от которой цепь проведена в маленький красивый домик пристава, собирающего Chaussée-Geld, деньги за шоссе. Платите

за милю безделицу, и смотритель, не выходя из комнаты, опускает цепь.

Нахожу, что способ этот содержать дороги есть легчайший и выгоднейший. Отдав небольшую подать приставу, путешественник может спокойно ехать по прекрасной дороге, и бедный поселянин или торговец, отдав за милю какой-нибудь грош, не боится заплатить двадцать грошей за то, чтобы вытащили его тяжелый воз из грязи или починили изломанную ось. Нельзя не похвалить хорошего. Здесь на семи верстах шесть-семь человек исправляют испорченную дорогу. В других, напротив, местах поднимают целые деревни, нарушают тишину лесов, потрясают сердца гор – и все это для того, чтобы исправить на несколько дней бедный овраг. Здесь дорога, будучи однажды прочно основана и утверждена, не может впоследствии времени много портиться; потребовав сначала значащих издержек, не имеет после в них нужды. Работники знают свое дело и не знают никакого другого; все припасы у них заранее приготовлены, все у них всегда под рукой. Порядок – дело великое! – однажды установлен-

ный, он сам потом учреждает и дает законы.

Почему не сделать у нас, хотя для главнейших дорог, хотя для самых грязных, худых мест, постановлений, подобных здешним?[11] Впрочем, безрассудно было бы мечтать об основании шоссе во всем обширном нашем государстве. В стране Гигантов не все то удобно, что легко в отечестве Пигмеев!..

Берлин, 18 марта

Вот я уже в одном из первейших городов Европы, на самой приятной и многолюдной его улице, в лучшем его отеле; одним словом – я в Берлине, на липовой улице (die Linde), в Петербургском трактире (Hotel de Petersbourg). Вхожу в отведенное нам жилище; пробегаю ряд богатых комнат и спрашиваю своего товарища: не забрели ли мы ошибочно в дом какого-нибудь прусского вельможи? «Это наши бивуаки (смеясь, отвечает он мне), бивуаки, приготовленные русскими штыками и дружелюбием пруссаков!» – Не для изнеженного ли придворного, баловня Фортуны, поставлен здесь этот кушет? – «Не худо и воину понежить на нем члены, утом-

ленные сорокаверстным маршем!» – Не для того ли обложены эти стены зеркалами, чтобы ласкать улыбку, взор, каждое движение статного щеголя, любящего мир, моду и себя более всего на свете? – «Приятно и Марсову сынку, собираясь на маневры, надеть перед этими стеклами кивер и ташку или, готовясь идти к какой-нибудь прелестнице, поправить ус чернобурый в завитках!» – Что скажешь об этом розовом балдахине? А это пышное ложе, персидскими тканями покрытое, не ждет ли, чтобы красавица, утомленная несколькими зефирными вальсами, пришла броситься на него, и, забывшись в сладком сне, увидеть в мечтах какого-нибудь бального прелестника с большим жабо, напысканным духами à la mille-fl eurs, с чулками телесного цвета, падающего перед ней на колени? – «Почему же красавице в мечтах сновидения не увидеть у ног своих какого-нибудь милого, умного, ловкого гусара, который поклянется небесами и землей, глазами прелестной и усами своими принести ей в жертву целый ряд врагов и первого французского орла с верным пламенным сердцем своим положить к ее сто-

пам?..» – Все это прекрасно! Однако же пойдём далее. Подхожу к окну. Нега подкладывает под локоть мой тафтяную подушку; роскошь осеняет меня занавесом, убранным рукой вкуса и богатства. Отворяю окно – и прекраснейший бульвар представляется моим глазам. Берлин славится липовой аллеей; и как не гордиться ему этими высокими деревьями, посаженными искусством, искусством и природой сбереженными? Как не утешаться берлинцам, сидя в жаркий полдень в прохладной тени этих деревьев или гуляя вечером в заманчивой их сени? Не выходя из комнаты, здесь дышишь воздухом сельских садов и любишься живостью и шумом городского гульбища.

Но – вот и наемный слуга (Lohnlaquais)! Для иностранца это нить Ариадны в лабиринте больших городов. Министры, генералы, духовные особы, ученые, купцы, одним словом, все состояния ему известны; все памятники, ученые и человеколюбивые заведения, театры и лавки ему знакомы. От передней до кабинета придворного, от горницы субреток до спальни прекрасной госпожи, от лавки иголь-

щика до биржи – все платят дань его проныр-
ству, и газеты не известят вас так скоро о ка-
ком-нибудь новом приключении, как стой-
кий лон-лакей. С помощью его, не выходя из
дома, я сделал все мои покупки в два часа. Од-
нако же не все сидеть в красивой клетке, в ко-
торую заперла меня дорожная усталость; на-
добно побывать и на воле, надобно осмотреть
и город. Липовая аллея достойна, чтобы на
ней хотя раз пройтись и полюбоваться раз-
личными лицами, движущимися взад и впе-
ред по чистым ее дорожкам. Не понравилось
мне то, что между щеголями и щеголихами
встречал я много нищих, много мальчишек в
отрепьях, которые ломаются, кричат и не от-
стают от вас, пока вы не сделаете им подая-
ния. Всякое униженное коверканье подобных
нам возбуждает какое-то негодование; зрели-
ще пальяса[12] не должно смешить, но возму-
щать душу; человек в унижении не может
быть никогда смешон.

Подхожу к новому дворцу, обитаемому ны-
нешним королем, и спрашиваю: где дворец?
Здание хоть и красивое, но низкое и малень-
кое! Что не довольно в этом случае? Одно об-

манутое воображение, настроенное стихотворными вымыслами, блестящими описаниями чертогов земных полубогов. Напротив же, утешает нас мысль, что не огромные и великолепные палаты, удивлявшие взор прохожих, но мудрые, отеческие дела, веселящие сердца народа, суть прекраснейшие и славнейшие памятники царей. Старый дворец есть четырехугольное большое здание с огромным двором в середине. Древность помрачила его стены и украшающие его статуи и придает ему какой-то пасмурный вид. Проходя по так называемому длинному мосту через реку Шпре, я остановился поклониться памятнику Фредерика Великого. Я хотел видеть на бронзе его знаки, сделанные русскими солдатами во время вступления их в Берлин, в царствование Елисаветы Петровны; но я не мог приметить их – или оттого, что самолюбие пруссаков их изгладило, или по причине слабого моего зрения. Шпре не река, а речка, чуть приметная за домами и мельницами, и мост, через нее построенный, не стоит названия Длинного.

Театр есть большое, великолепное камен-

ное здание. Архитектура его и легка, и богата; колоннада прекрасна! Пространная площадь, его окружающая, придает ему величественную красоту.

Множество площадей украшает Берлин; некоторые из них окружены разного рода деревьями, которые, очищая испарениями своими городской воздух, служат жителям и приятной прогулкой. Проходя мимо Вильгельмовой площади, любовался я, как прусские офицеры обучали на ней рекрутов. Кто знает, думал я, что в толпе этих воинов не скрываются новые шверины, зейдлицы, кейты и винтерфельды? Кто знает, что зрелище этих четырех великих полководцев, дышащих здесь в мраморе, не бросило уже искры славы в юные сердца? Война раздует искру — и новые герои воскресят деяния старых, и признательное отечество вместе с благодарным королем вознесут им памятники, подобные тем, которые мы здесь видим.

Здесь жители показывают Фридрих-штрассе как первую улицу в Берлине и в Европе! По широте и правильности ее, по красоте ее домов можно согласиться, что это пре-

краснейшая улица. Взор теряется в бесконечности ее.

Берлинская фарфоровая фабрика достойна посещения путешественника. Сколько лет, сколько трудов и издержек нужно было, чтобы довести ее до подобного совершенства! Знатоки отдают преимущество Мейсенской в выделке глины, а Берлинской – в совершенстве живописи.

Ни одна черта из жизни царя-воина-философа не изгладится временем в сердцах пруссаков. Провожатый мой рассказал мне следующий анекдот, здесь случившийся и показывающий всю доброту души Фредерика Великого. В одно посещение королем фабрики попался ему на крыльце семилетний ребенок, сын бедной вдовы. Мальчик, испугавшись этой неожиданной встречи, выпустил из рук чашку, которую он нес домой, и начал горько плакать. Король милостиво подошел к нему и, взяв его за руку, сказал: «Не плачь, дружок! Пойдем со мной; я велю дать тебе другую». Он приказал в самом деле выбрать ему чашку по его вкусу и, сверх того, сунул ему тихонько талер. «Мне талера не надобно! – отвечал ре-

бенок, ободренный ласками монарха. – Подари мне лучше один дрейер, на который нужно мне купить матушке лекарства». Король улыбнулся; велел сыскать у работников дрейер, дал его обрадованному мальчику и, не удовлетворившись этими милостями, приказал проводить его к матери, отпустив для нее полдюжины чашек и свернув Фридрихсдор в обертке одной из них.

Там же, 19 марта

Нынче, приехав с принцем к генералу Репнину, имел я удовольствие найти у него генерала Алексеева. Будучи еще ребенком, я знавал его как московского полицмейстера и хорошего отцу моему знакомого. Время и болезни, последствие тяжелых ран, переменили несколько его наружность; но душа его все так же прекрасна, как была в цветущие годы его жизни. И ныне та же обворожительная любезность, та же веселость нрава его не покидают. Увидев его, я представлял, что свиделся с Москвой, с милыми друзьями, с веселостями беспечной юности – мечтал и был несколько минут счастлив.

Я имел также счастливый случай быть у графа Витгенштейна. Минутное пребывание у него утвердило меня еще более в том мнении, что истинно великий человек всегда снисходительнее и милостивее того, который высок одной породой или богатством. Славные дела говорят за первого; и нужно ли ему, после всемирного свидетельства, напоминать всякому о своем величии?.. Напротив, другой, не имея при себе ничего, кроме золота или прадедовского пергамента, думает вывеской гордости обратить на себя общее внимание — думает и ужасно ошибается! Защитник Петрова града пример первого. Я не видал человека ласковее, любезнее, милостивее в обращении. Величественная, благородная наружность его обольщает вас с первого взгляда; слова его с каждой новой минутой приобретают новую власть над сердцем вашим. Не удивляюсь, что окружающие графа настолько ему преданны.

Граф Витгенштейн отдыхает в Берлине на трофеях. Чуждый народ торжествует его здесь пребывание, пока еще война не позволила русским приветствовать его сердечной благо-

дарностью. Он не может выехать со двора без того, чтобы толпы пруссаков не окружили его и не изъявили ему своей преданности громким «Ура!». Оставив тактикам судить о его военных дарованиях, скажу, не страшась укора потомства, что верный и славный защитник Петрова града, осененный благословениями нашего Севера, смело вступит в храм вечности наряду с великими мужами. Граф, отдыхая здесь на трофеях, трудится над приобретением новых: он занимается воззванием германских народов ко всеобщему вооружению против врага их свободы и спокойствия. Уверен, что народы эти, внимая герою, не замедлят отделиться от честолюбца и, пожелав колеснице его счастливого пути, пристать к братскому союзу, поднимающему оружие на защиту прав народных. Достоинно хвалы потомства и замечания справедливого историка единодушное рвение пруссаков и короля их к восстановлению прежнего их величия! Все звания и состояния проснулись, все сливают имя гражданина с именем воина. Отцы расстаются с малолетними детьми, мужья покидают нежных супруг, сыны разлучаются

с престарелыми родителями; кто только может поднять оружие, требует его; а старцы, жены, девы и дети, бессильные нести и бросать на врагов громы, сопровождают благословениями идущих на брань отечественную. «Не нужны нам имущества, когда мы не возвратили еще лучшего сокровища нашего – имени!» – говорят богатые и жертвуют имением своим. «Что нам и в жизни, когда чуждая власть оковывает наши руки и души?» – кричат бедные и несут в дань отечеству здоровье и жизнь. «Свобода! Свобода! Возвращение славы потомку великого Фредерика и подданным его!» – восклицает целая Пруссия и ополчает сынов своих. Нынешнее всеобщее вооружение пруссаков можно назвать революцией – так стремительно и единодушно это вооружение!

Обратившись мыслями на отечественную войну русских, остановившись на нынешнем ополчении Пруссии, уверимся, что любовь к отечеству не есть призрак и что привязанность к имени своему не мечта. Уверимся, что Творец, бросив в нас первую искру жизни, присоединил к ней искру любви к отече-

ству. Привычка младенца к колыбели, привязанность его к кормилице, ребенка – к комнате, в которой он воспитывался, и к лугам, на которых он игрывал, юноши – к месту родины не есть ли приготовление к этой любви? Родители, друзья, супруга, воспоминания, страсти, несчастья и минуты блаженства укрепляют ее более и более и доводят до силы, которой мы в совершенных годах уже противиться не можем. Ах! Если бы любовь к отечеству была призраком, то и жизнь наша не что иное была бы, как мрачное, печальное привидение!

От графа ездил я с принцем к принцессе Бранденбургской Елисавете (кажется, ее так зовут). Ее светлость очень ласкова – это я очень помню; однако же не забыл, что и ноги мои чувствуют еще боль от последствий грозного этикета, принудившего меня стоять на них некоторое время. Увы! Такая же участь ожидает меня впредь... То ли дело друзья! За чашей круговой, на пышном соломенном ложе беседовать с дружбой о любви или теряться сердцем и мечтами в рое милых?..

Рупин, 20 марта

Ныне увиделся я со старым моим знакомым – и где же? У шлагбаума, в караульне, при выезде из Фербелина! «Это он!» – закричал я и готов был из коляски броситься к нему на шею.

Помните ли в путешествии нашего Морича, толстого часового, у которого под брюхом висела маленькая шпажонка – того гордого стража городских ворот Тильзита, который необыкновенной фигурой и странными телодвижениями привел в замешательство русского путешественника? Ныне встретил нас другой он у ворот Фербелинских: та же тучная, смешная фигура, достойная кисти Гогарда; те же странные телодвижения; тот же самый вопрос: «Wer sind sie?» («Кто там?»), поразивший слух мой так сильно, что я невольно вздрогнул! Это был один из Ландверов, поставленный у заставы для записи имен проезжающих. Опомнившись от изумления, полез я в карман за данью моего глубочайшего почтения к его толстой особе; но товарищ мой, сказав уже наши имена, закричал почтальо-

ну: «Forwärts!» («Пошел!») – рог затрубил, бич хлопнул – я одним кивком расплатился с моим милым, старинным знакомым.

Перлеберг, 21 марта

Север Германии (в той стороне, которую проезжаем) совершенно беден живописными видами. Хорошо обработанные поля, большие деревни с садами, обширные равнины, скучные пески с мрачными сосновыми лесами, болота, пересеченные ивовыми аллеями, – везде следы примерного трудолюбия, но везде печальное единообразие, везде повторение одних и тех же предметов! Напрасно мертвая кисть хотела бы здесь оживотвориться; если бы она и заплатила дань здешней природе, то не представила бы ничего, кроме порядочно устроенной хижины пахаря под тенью гостеприимных тополей, кроме тучного вола и величественного могучего коня – красоты и славы здешних мест. На юге Германии царствует природа со всеми ужасами и приятностями своими! – говорят художнику; и артист, с пламенной любовью к изящному, спешит на берега Неккера и Майна.

Трудности, претерпеваемые в Польше, представляются нам как во сне. Мы совершенно забыли, что война не потушила еще огня и каждую минуту готова позвать нас к дыму своих бивуаков. Среди солдатского похода мы совершаем самое приятное путешествие и, бедные как Иры, наслаждаемся подобно Крезам. «Пользуйся настоящим!» – говорят любезные учителя счастья – и мы в строгой точности повинемся их учению. Катясь со станции на другую в покойной коляске на четырех быстрых конях, покоясь на хороших постелях, сидя за блюдом форелей или фазана, любясь ключом шампанского, бьющего со дна прадедовского бокала, или слушая, как сок гренадских апельсинов с песком американского тростника бунтует в портере, обогащаясь каждый час новыми дарами природы и искусства – спрашиваем, улыбаясь, друг друга (с товарищем моим Коленом): «Не охает ли какая-нибудь тысяча душ от роскошного нашего путешествия? Не имеем ли нужды послать приказ к бурмистрам и старостам нашим о наложении на крестьян оброка?.. Слава Богу! Удовольствия наши не покупают-

ся ценой кровавого пота подобных нам. Без всяких побуждений случай платит нам богатую подать. Долго ли будет баловать таким образом? Не знаю; но, благодаря судьбу за ее милости, пользуемся ими.

Перлеберг небольшой, но порядочный городок. Мы находимся еще в Пруссии; через несколько часов будем в Мекленбурге.

М. Лудвигслуст, 25 марта

Куда бури жизни не занесут утлого челна, Купленного на произвол судьбы по неозримому пространству океана?.. Думал ли я, беспечный питомец любви и природы, верный друг полей и рощ, постоянный житель родной хижины, – думал ли я сторожить в шумном стане военном, засыпать под тенью грозных орудий смерти и в кругу северных героев беседовать о бессмертии падших на полях славы? Мечтал ли я опять на пути нынешней войны, внимая громам ее, недосыпая ночей на соломенном ложе и под покровом пасмурного неба, встречая морозы и непогоды, – воображал ли, что жребий войны бросит меня на пышные пуховики Фортуны, в жили-

ще благодетельной Феи, в цветник Граций и заставит сердце мое кружиться в вихре разнообразных удовольствий?.. Но что всего драгоценнее, всего сладостнее, – осиротевший в мире, в удалении от полей отечественных, от родных и друзей незабвенных, не мог и мыслить найти новое родство, новых друзей и благодетелей на берегах Балтийского моря! Мы усладим для тебя разлуку с Отечеством и милыми сердцу твоему: говорят они и оправдывают это опытом. Сколько счастливых и печальных перемен в жизни человеческой! Как разноцветна чудесная ткань ее! Кто может предвидеть, какими шелками соткется и моя собственная?..

Итак, я в герцогстве Мекленбургском, в гостях у любезного повелителя его, в местах, где жила и скончалась сестра императора нашего. Принц Карл около десяти лет не был в своем семействе, и потому можно вообразить, с какими чувствами радости встретили его родственники. Я был свидетелем трогательной сцены свидания; видел слезы, текущие по лицам их; видел, как сын и дочь великой княгини Елены Павловны, живые портреты

прекраснейшей душой и телом матери, бросились с искренними знаками радости на шею своего дяди. И мог ли я, глядя на эту семейственную картину, не принести потаенной слезой дани Природе, которая пишет законы и венчанным главам?.. В этой сцене нас, русских, не забыли. Приязнь, ласки, упреждение наших желаний, попечение о нашем покое и удовольствиях, заботы о нашем здоровье – все это возбуждало в сердцах наших чувства живейшей благодарности.

Прелестная весна улыбается нам и сулит тысячу приятностей.

Там же, 29 марта

Я не имел нужды вопросами пробудить в окружающих меня воспоминаний о покойной великой княгине Елене Павловне: здесь все говорит о ней; все старается предугадать желание русских слышать о русской государыне. Первым нам приветствием мекленбургцев есть благодарность за то, что мы дали им такую добродетельную принцессу. При этом чувство народного самолюбия пробуждается! Нам ли после этого не гордиться родом государей наших, столько богатых добротой и величием? Нам ли не улаживать венец, которого блеск на нас же так щедро упадет? Кто из русских не проливает слез восхищения и благодарности перед престолом Вышнего Царя за то, что даровал великому народу Севера земных царей по подобию Своему? Друзья! Я видел чужой народ, слезами платящий дань памяти великой княгини, как род человеческий приносит дань золотому веку сожалением, что он уже для него не возвратится. Я видел старцев, у дверей гроба расцветающих от одного рассказа, какими знака-

ми уважения чтила она их седины и преклонные годы. Был я в хижинах, где имя ее произносится, как святыня, где затвердились и передаются потомству, как божественные изречения, слова, которыми она ободряла слабых, утешала бедных и печальных. Я был свидетелем, как дети откладывают игры, чтобы слышать отцов своих, рассказывающих о доброй Елене – так называют ее и теперь здешние жители. Самые царедворцы в палатах герцогских вздыхают о веселостях, вместе с нею сокрывшихся. Какие же редкие добродетели должны были украшать ее, когда народ, от старца до ребенка, носит по ней сердечный траур даже при нынешней наследной принцессе, любезной, кроткой и чувствительной!

Первым желанием моим по приезде сюда было поклониться праху великой княгини; первой обязанностью моей было это немедленно исполнить. Русский дьячок, оставшийся здесь после смерти ее и не хотевший расстаться с этим драгоценным прахом, проводил меня к памятнику, его хранящему. Монумент стоит в уединенном месте сада, в мрачной сени деревьев, которую лучи солнечные

никогда не проницают; он прост, красив и трогателен. Передняя его сторона украшена легкой колоннадой. На фронте крупными золотыми буквами начертано: *Helenae Paulowidi* (Елене Павловне). Во внутренности, освещаемой слабым светом лампы, все просто, кроме двух гробов, богато украшенных и стоящих рядом: один, с левой стороны от входа, поставлен над местом, вмещающим в себе бранные останки великой княгини; другой, как говорят, приготовлен наследным принцем для него самого. Как рано скошен жадной косой смерти прекрасный сей цвет, бывший равно украшением родных и чуждых полей!

Идя от памятника, мы встретили принца Павла, а потом принцессу Марию. Во все пребывание наше здесь они оказывали нам отлично милостивое внимание; но ныне взоры их изъясняли нам что-то особенное, чего детский язык их не мог выразить.

Кажется, они говорили нам: как мы благодарны вам! Как мы любим вас! Вы русские – и наша мать была русская!..

Лудвигслуст, 30 марта

Не понимаю, что могло склонить герцога Лудвика (отца нынешнего правителя Мекленбурга) поселиться с двором своим между сыпучими песками, болотами и мрачными сосновыми лесами и назвать это жилище своим удовольствием (Ludwigslust). Напротив, я назвал бы его Лудвиковой пасмурностью: так печально и однообразно здешнее местечко! Говорят, что покойный герцог имел характер меланхолический и скучный, и для того, не любя улыбки даже в самой природе, избрал себе такое сельское убежище, в котором природа только хмурится и заставляет на каждом шагу на нее досадовать. Не скажу, чтобы искусство не украсило сего жилища; но все, что в нем создано хорошего руками человеческими, теряет свою цену при виде песков и болот, в которых вязнешь, сделав только шаг за местечко. Нет в окрестности ни зеленого луга, ни вьющегося между упрямыми берегами ручейка, ни пригорка, с которого взор мог бы насладиться порядочным видом; нет совершенно того, что утешает нас в загородном

жилище. Проезжая отсюда в какую сторону хотите, надобно закрыть глаза на несколько верст. Несмотря на скучную природу здешнюю, весь двор проводит большую часть года в Лудвигслусте: привычка, благоговение к памяти родителей и притом большие издержки, на это место употребленные, заставляют нынешнего герцога продолжать в нем свое пребывание.

Во всем Лудвигслусте три улицы, из которых одна может считаться таковой, а другие только началом улиц, потому что на них стоит не более десяти домов. Все здания построены на казенное иждивение из кирпича; они не выбелены, впрочем, в них соблюдены все выгоды, чистота и покой. Они помещают в себе чиновников, служителей придворных и мастеровых. На платформе против дворца есть также здания лучшей архитектуры: в них обитают принц Адольф и чиновники, которые для двора более необходимы. Как те, так и другие осенены рядами лип и тополей. В местечке на главной улице есть порядочный трактир для проезжающих и мещанское собрание (bürgerclub), где пожилые гражда-

не – по общему закону немецкой флегмы – пьют пиво, курят табак, решают за газетами судьбу царств, а молодые с гражданками кружатся и резвятся в вальсах.

Дворец есть большое четырехугольное и поперек продолговатое здание, довольно красивое, с некрасивыми службами, покрытыми черепицей. Против переднего фасада его, за зеленой платформой, украшенной чистым прудом с водометами и рядами тополей к стороне домов, возвышается лютеранская церковь. Наружное зодчество ее прекрасно; во внутренности все величественно, все соответствует высокому предмету богослужения. Входя в нее, внимаю небесной музыке, голосам ангельским; эфирные жители слетели, конечно, сюда, чтобы песнославить Творца вселенной. Зрение так обмануто искусственными облаками, оркестр так выгодно поставлен за ними, что не смеешь и не хочешь разувверить себя в сладкой мечте – и с сердцем, полным благоговения и любви ко Всевышнему, с восторгом неизъяснимым внимаешь небесному хору. Задняя сторона дворца обращена в сад. Тут представляется вам большой,

правильно обрезанный четырехугольный луг, утешающий взор бархатной своей зеленью, прямая аллея, теряющаяся в длине перспективы; справа маленький, некрасивый домик, напоминающий о теремах, где предки наши запирали бедных красавиц; а слева дикий лес. Правая сторона сада не стоит почти того, чтобы в нее заглянуть: разве остановит вас в ней на несколько минут пруд с островком и домик, где золотоперые фазаны разных родов обитают многочисленной семьей. Лучшая прогулка с левой стороны, начиная мимо половины принцессы Марии. Сейчас при входе в сад найдете маленький лесок, в котором разные оттенки зелени деревьев так искусно подобраны, как будто на ландшафте своей нравной рукой художника. Лабиринт английских дорожек запутывает ваши намерения: хотите идти вправо – они приводят влево, желаете пробраться в лесок – и очутитесь у церкви. Остановимся же у нее. Вот могила, на которой не вижу величественного памятника, означающего, что здесь покоится прах человека, именем своим гремевшего в календарных списках; но по зеленому дерну, ее по-

крывающему, и бесчисленным цветам, начинающим на ней распускаться, примечаю свежие заботы дружбы или родства. Тут покоится прах русского офицера графа Мусина-Пушкина; он умер на поле чести и славы, оплакиваемый нежным братом и военными товарищами. «За вас, друзья, и свободу народов!» – сказал он и испустил последнее дыхание – смерть завидная для всякого ратника, несущего жизнь в жертву Отечеству и пользе сограждан.[13] Маленькая церковь стоит внимания: она готической архитектуры и очень искусно отделана. Лучи солнца, играя в ее разноцветных стеклах, показывают их вам за прозрачные изумруды, яхонты и сапфиры. В продолжение прогулки по остальной части сада, который есть дикий лес, займут вас памятники, посвященные великой княгине Елене Павловне и матери ныне царствующего герцога; водопады с шумящими каскадами, нарушающими мрачную тишину этих мест, зверинец, где скачут серны, легкие как горный ветер, и, наконец, домик, где сестра нашего государя любила чаще быть и кормить из своих рук семейство голубей. И доньше не

покидают они любимого жилища своей благодетельницы и томным воркованием изъявляют, кажется, по ней грусть свою. Домик сей есть сквозная галерея: она очень красива снаружи, а внутри убрана всеми любимыми вещами покойной великой княгини. Она бывает заперта весь год и только в день ее рождения отворяется и посещается теми, которые благоговеют к ее памяти и любят ее по смерти. В земле Мекленбургской все ее любят доныне: следственно, посетителей в день этот бывает очень много. Повторю еще, что здесь не нужно спрашивать о русской государыне, потому что все о ней говорит, все предметы о ней напоминают. Особенно творческой силе кисти поручено было передать ее образ в разных видах будущим векам. Там является она, как нежная мать семейства, среди детей своих; здесь представлена в виде Флоры, рассыпающей на землю богатые дары свои, окруженной Зефирами, Играми и Смехами; тут утешает взоры в образе Надежды, одной рукой опершейся на якорь, другой показывающей на небо; там опять в образе царицы отвечает приветствиям чуждого народа, прини-

мающего ее с радостными восклицаниями и обещающего ей любовью своей усладить, сколько возможно, разлуку с милой родиной; здесь снова является она в одежде русской крестьянки; но и самый сельский наряд не скроет, что она рождена была повелевать. Во всех видах она образец красоты, любезности и кротости.

Г. Шверин, 3 апреля

Герцог, желая предоставить всю честь приема одному принцу Карлу, отказался ехать с нами в свою столицу. Один наследный принц с супругой своей прибыли сюда, и то через день после нас. Торжество нашего въезда стоит описать – хотя бы для того, чтобы мои соотечественники улыбнулись, глядя на важную фигуру, которую представляю, катясь на колеснице временной Фортуны. Мне самому смешно в торжестве этом играть роль Эфестиона; но не я первый и не я последний на чужом месте!..

За семь верст от города встретила нас конная гвардия, состоявшая человек из двадцати. Она одета была по образцу французских жан-

дармов, в синие мундиры с пунцовыми обшлагами и в треугольных шляпах с высочайшими султанами. Лошади и убор на них были щегольские. Начальник отряда сказал маленькую приветственную речь принцу, на которую тот отвечал благодарственной; после чего команда, прокричав «Vivat!», разделась на две половины: одна составила наш авангард, другая поскакала вслед за нами. За две версты от города встречены уже мы были рассыпной конницей: это были граждане с начальниками уезда и города, Ландратом и бургомистром. Они поздравили принца с прибытием в столицу отцов его. Поздравления выражены были с сердечным красноречием; благодарность им соответствовала. Немного далее ожидали нас верховые лошади в богатых приборах. Сев на них, поскакали мы в город. У ворот его собраны были шверинские жители, малые и большие, старцы и женщины. Народ встретил нас громогласным «Ура!», продолжавшимся несколько минут. Впереди всех стояли двенадцать девушек, одна другой прекраснее, одетых в белые платья с цветочными цепями и венками. Самая прелестная

из них сказала маленькую речь принцу так искусно, с такими приятностями, что она обворожила бы и сурового Катона. «Кого не убедит такой красноречивый оратор?» – думал я, глядя на ее черно-огненные глаза, и между тем пропустил было для моей картины самую счастливую черту – минуту, в которую прекрасная надела лавровый венок на принца и опутала лошадь его цветочными перевязями. Ко мне и товарищам моим подошли другие девушки и надели на нас такие же цепи. В таком наряде, среди многочисленного народа, сквозь который лошади наши могли насилу продираться, при громких восклицаниях, сделали мы наше торжественное вхождение в столицу Мекленбургской области. Квартиры были нам приготовлены во дворце наследного принца. Здание небольшое, но красивое! Войдя в него, принц должен был удовлетворить требованиям народа, изъявившего громкими восклицаниями желание видеть еще сына своего государя. Он исполнил это требование, показавшись на балконе. В эту минуту шляпы полетели вверх; развеялись различные знамена с цветами герцогского герба и с

разными надписями; раздались шумные восклицания: «Виват, добрый герцог, принц Карл! Да здравствует вся фамилия нашего отца! Ура российскому императору, нашему покровителю и защитнику! Ура всем добрым русским!» Принц, поблагодарив их, почти со слезами, удалился в свои комнаты; но волнение народное продолжалось еще с полчаса. Как скоро оно утихло и толпы разошлись, мы сопутствовали нашему шефу в старый герцогский дворец. Там сделал он короткое посещение 90-летней тетки отца своего (принцессе Улрике Софии), которая, стоя уже при дверях гроба, лишенная древностью лет способностей действовать и рассуждать, оживилась нашим приходом и столько обрадована была видеть русских, что объявила нам свое восхищение с присоединением маленького приветствия. После того ходили смотреть там же кабинет редкостей, картинные галереи и сокровищницу герцогскую. Сколько памятников искусства, наук, художеств – и богатства, прибавил бы я, если драгоценные камни могут стоять рядом с изящными произведениями ума и вкуса!

Вид из дворца прелестный! Кисть живописца нашла бы здесь богатую жатву. Воды обширного озера ласкают стены дворца, отражают в зеркале своем город, красивые берега с мызами, садами, рыбачьими хижинами, зелеными пригорками и теряются наконец в сизой отдаленности.

Мы не можем ступить за порог нашего жилища без того, чтобы не окружили нас толпы народа и не приветствовали нас громким «Ура!» и разными другими искренними знаками восторга и дружбы, как например: «Русь добра! Für ewig freunde! Вечные друзья! Unseres blut und hertzen für Alexander!» Каждый хочет иметь удовольствие поговорить с нами о нашем Отечестве, о московском пожаре, о прошедших битвах и прочем. Потому мы не успели еще видеть город.

Вчера была иллюминация по всем улицам. Прозрачные картины и надписи говорили нам о чувствах жителей к своим государям и русским.

Я сейчас с бала, данного принцу министром Брандтенштейном. На нем наследная принцесса сделала каждому из нас (русских)

честь потанцевать с нами. Фрейлина ее, милая Лотцо, всегда алая розами стыдливости, приглашала нас к сей чести. Ужинали мы на особенном столе, среди цветника Граций. Каждая из них была любезна и прелестна; но всех прелестнее и любезнее дочь министра. Назовите ее Нимфой, Грацией, Флорой, кем угодно: всякое из этих имен будет ей прилично. Ни одна из них не считала еще двадцатой весны своей. Прелестные разным образом старались нас занимать; они пили за наше здоровье искрометного шампанского; розы пылали на щеках их – я вспомнил Горация [14] и вздохнул!

Новый Штрелиц, 6 апреля

Путем праздников продолжали мы ехать сюда с нашим шефом по владениям отца его. Мекленбургцы, обрадованные видеть своего принца, после девяти лет возвратившегося к ним со знаками отличия, везде встречали его с искренним восхищением. Освещения претворяли самую ночь в день; родное сердцу северного жителя «Ура» не умолкало; пиршества и балы не давали нам успокоиться. Приветствия, свойственные душам добрым, знакомили нас с утешительной мыслью, что мы, в стране гостеприимства и приязни, собираем награды, купленные мужеством, правотой и любовью к общей свободе. В путешествии этом врезалась еще глубже в сердце мое одна из первейших и неоспоримых истин, что любовь народная к первым своим правителям есть любовь, вместе с нами и привязанностью к отцам нашим рожденная. Возьмите пример с жителя села, этого грубого сына Природы, не умеющего притворяться; посмотрите на него: он плачет, когда рассказывают ему о подвигах доброго государя; он желал бы

облобызать край священной одежды его и умереть спокойно!

Вчера поутру приехали мы ко двору здешнего герцога, почтенного древностью лет и единодушным о нем добрым мнением всей Германии. Народ его не многочислен, но все, что только живет на земле Штрелицкой, составляет семейство, окружающее его своей любовью и благословениями. Отец своих подданных и доброй, прекрасной королевы Луизы мог ли не возбудить в душе нашей особенного к нему уважения? О наследном принце ничего не могу сказать. Принц Карл находится теперь в прусских войсках: говорят, что он очень любим солдатами. На здешнем маленьком Олимпе земном встретился я с существом, достойным украшать небесный, – с существом, которые нашел я в дочери герцога, принцессе Сольмской, прекрасной, живой (но не столько миловидной, как покойная сестра ее королева прусская). Супруга ее, напротив, не наградила природа слишком приятной наружностью. Дети же сей четы так прелестны, что не налюбуеться ими. Одного с торжественным видом представила мне мать, как

крестника российского государя. Малютка дышит уже воинским духом: меч, копье, знамя, барабан с ним неразлучны. «Я люблю очень русских, – сказал он матери, указывая на нас. – Они сожгли большой свой город и не хотели сдаться неприятелям. Когда я вырасту, пойду с ними воевать, кричать “Ура!” и бить французов». Маменька поцеловала за это маленького героя и уверяла нас, что она также любит русских. В два дня, которые мы здесь находимся, она старалась нам это доказать, показывая к нам особенное внимание, занимая нас в концерте, за обедом и не упустив ни одного случая польстить самолюбию гипербореицев... Как я заметил, она с особенным удовольствием проводит время в многолюдном обществе; супруг же ее, напротив, любит уединение. Он имел дачу близ Нового Штрелица, где прелестные часы его жизни протекают в беседе – с фазанами! По желанию принцессы один из многих гофмаршалов был столько снисходителен, что повел меня к здешнему ваятелю в мастерскую. Здесь показали мне бюст покойной королевы, обманывающий глаза живостью и сходством с под-

линником. И в мраморе дышит она неизъяснимой любезностью и даже в нем очаровывает сердца! От скульптора путеводитель мой провел меня в лесок Коппель, который мне очень хвалили. Самой простотой его нашел я этот лесок прелестным. Искусство столько старалось в нем подражать Природе, что себя совсем забыло и выказало одну последнюю. Чистые дорожки виляют по рошицам и пригоркам, на каждом шагу вас обманывают, заманивают к живописным видам, отвлекают от них к новым, приводят то к зеркальному пруду, где красивые форели стаями плавают, то на бархатную полянку, сиренгами окруженную, где серны резвятся во множестве, не боясь присутствия гуляющих. Глядя, в каком мире живут здесь люди с животными, вспомнишь и невольно вздохнешь о жилище первого человека. Надобно при сем отдать справедливость германским постановлениям, запрещающим тревожить без пользы спокойствие робких жителей лесов, и похвалить должно правила, здешним лесничим и охотникам данные. Им предписано, в случае нужды, убивать зверя огнестрельным оружием,

стараясь застать его одного, и положить на месте, чтобы в противном случае не испугать прочих. К похвале сей прибавить должно, что здешние помещики, думающие о пользе общей, равно как и своей, не отвлекают селянина от плуга и семейства, чтобы сделать из него праздного и порочного человека, не держать по эскадрону псарей и по сотням гончих и борзых, не кормят их потовыми трудами крестьян, не топчут полей и скромного участка земледельца... Не скажу ничего более и обращаюсь к прогулке. После нее останешься так доволен, будто провел несколько часов в обители богатой сельской природы, далеко от шума и сует городских.

Ныне за столом сидел возле меня здешний полковник и командор Любский, граф Фосс, человек очень любезный. Случившееся недавно происшествие с детьми его столько любопытно, что нельзя отказать себе в удовольствии сообщить его. Сын графа, одиннадцатилетний малютка, слыша каждый день повествования о единодушном вооружении Германии, о святости долга каждого сына отечества нести ему в жертву спокойствие и

жизнь, о рвении всех состояний освободиться от ига чужеземцев; воспламенясь этими рассказами, положил в уме своем во что бы то ни стало вступить в ряды ополчающихся. С необыкновенным красноречием сообщает он десятилетней сестре намерение свое. «У него есть конь, во всем ему послушный и готовый с ним в огонь лететь; детское копьё, сабля, шлем и щит в его распоряжении, эскадрон гусар формируется в Новом Штрелице; все способствует его предприятиям. Явиться к начальнику новобранцев, быть принятым в число их и показать чудеса храбрости – дело легкое и прекрасное!» Так описывает он свой рыцарский поход – и, в маленькой голове его уже несколько французов лежат без головы. Сестра, убежденная его ораторством, хочет принять хотя бы малое участие в его подвигах, обещает во всем ему помочь и хранить геройское предприятие в глубокой тайне. Три дня проходит в разных приготовлениях, как то: в приведении в порядок грозного воинского вооружения и конского снаряда, в снабжении путевым продовольствием небольшой котомки, в вышивании девиза на штандарте

для молодого рыцаря и в прочих затеях, какие только дети с живым воображением изобрести в таком случае могут. Все это делается в тайне от домашних; никто из последних не подозревает даже, чтобы детям пришло в голову что-нибудь подобное. На четвертый день, часу в пятом за полночь, когда сон покоил еще всех в доме, девочка – по сделанному условию – прокрадывается в горницу, где ожидал ее брат, вооруженный с ног до головы; провожает его в конюшню, помогает ему сесть на маленького Буцефала, отправляет его в путь чести и славы с благословениями и возвращается к своей постели без шума, не будучи никем замечена. Поутру дядька одиннадцатилетнего героя, не найдя его в постели, поднимает тревогу в доме. Можно вообразить о беспокойстве отца и матери. По исчезнувшему борзому коню догадываются о побеге; тотчас по всем дорогам разосланы гонцы. Вспомнив некоторые обстоятельства прошедших дней, начинают подозревать в сообществе малютку и требуют ее к родительскому трибуналу. Ее допрашивают; но ни угрозы, ни ласки не могут поколебать ее вер-

ность: твердая в своем слове, она во всем за-
пирается. Наконец по следам и расспросам
отыскивают путь беглеца, догоняют его уже
за 2 мили (14 верст)[15] от деревни графской и
приводят в слезах домой. Геройское предпри-
ятие кончилось тем, что господина рыцаря и
сообщницу его пожурили как должно; осыпа-
ли их потом поцелуями и – сделали для них
детский турнир, где маленький победитель
был награжден из рук сестры лавровым вен-
ком и от родителей подарками.[16]

25 апреля[17]

Кутузова не стало! Весть эта бежит из горо-
да[18] в стан, из дворца в хижину и напол-
няет все унынием. Один передает другому это
печальное известие, как будто лишился един-
ственного друга или отца, как будто потерял с
ним все, что имел драгоценнейшего на свете.
Иной отвергает этот слух, чтобы продлить
хоть на малое время сладкое заблуждение,
что Герой живет еще среди преданного ему
войска; другой, соизмеряя течение его жиз-
ни с бессмертием дел его, не верит, чтобы
грозная коса смела прервать священную нить

ее, чтобы от этого отличнейшего мужа Природа потребовала себе дани наравне с толпой простых смертных. Но всеобщее сокрушение удостоверяет нас, что Кутузов более не существует. Союзные цари погрузились в темную думу: кому поручать великое бремя предводителя войск и кто с полной уверенностью на свои дарования и опытность предпримет довершить подвиг, столь славно Исполином нынешней войны начатый и продолженный? Германия, заранее предупрежденная молвой о славе дел его, давшая ей с восхищением дорожку между своими народами, готовая уже совершенно преклонить весы на священную сторону, объялась вдруг нерешимостью и с сомнением ожидает, кто заменит вождя, исполнявшего лучшие ее надежды. Между полководцами ходит уже проснувшаяся зависть, и прельщает их мечта честолюбия, ибо войско лишилось того, который неоспоримой славой заставил ее умолкнуть; ибо не стало уже Гения, умевшего соединить в пользу общую умы беспокойные и несогласные. Здешний селянин, как будто увидев надежду полей своих с ним погибшей, останавливает со-

ху на незаконченной борозде. «Кто защитит плоды трудов моих, – восклицает он, – когда судьба отняла у нас защитника?!» Мать ведет детей своих к гробу великого. «Он был спаситель своего Отечества, – говорит она. – Поклонитесь праху его и молитесь, чтобы Всевышний послал нашей родине подобного заступника!» Но кто может словами представить сердечное сокрушение русских воинов? Одни, полагая его только на одре тяжелой болезни, простираются на помосте храма и молят Всеблагого ценой собственной их жизни сохранить дни Вождя любимого; другие отдают последнюю лепту для возжигания фимиама перед образом грозного Предводителя небесных сил. Тот, прижав со слезами драгоценный наперсный крест к устам своим, передает потом эту святыню для облобызания товарищам своим и рассказывает, как покойный князь накануне общего боя обменялся этим крестом на медный солдатский, который после того носил под звездами, от первых государей мира полученными; сей завещает престарелым родителям, как лучшее свое сокровище, серебряную монету, пожалованную

ему недавно собственными руками фельд-маршалом. Иной в трогательных воспоминаниях проходит длинный ряд годов, проведенных в служении царю и Отечеству под начальством великого, и считает годы эти победами, им стяжанными; другой повествует о любимых его изречениях, достойных быть переданными потомству, о ласковом его обращении с подчиненными, смягчавшем суровую жизнь ратника, о трудных походах, его нежными заботами облегченных. Никто из них не может без слез говорить о смерти Светлейшего – в его лице лишились они начальника, родного им по вере и языку отцов их, родного и по любви к ним и неусыпным о них попечениям; в нем потеряли предводителя, который, не допустив посрамления до Христовых знамен, приобрел каждому из воинов имя хранителя святой земли русской. В одном стане врагов слышны радостные клики и торжествуют смерть Героя: в нем видели они меч Божий, каравший их от полей Бородина до берегов Эльбы. «За нас ныне и Судьба!» – провозглашают они в безумной слепоте и веселятся унынию священнных легионов.

Нет! Мы не дадим смеяться врагам нечестивым. Докажем им при первом бое, что Кутузов не умер, что он живет в духе русских воинов и что Всевышний не отнимет от них руки победы, доколе имя славного защитника Отечества не изгладится из сердец современников и памяти благодарного потомства.

Бивуаки под Швейдницею, 16 мая

Я выехал из Лудвигслуста с шефом моим 2 мая. Обратное путешествие наше в главную армию было через Берлин[19] и восточный край Саксонии, в котором пески и леса, несмотря на красивые городки, делали для нас дорогу скучной и однообразной. По множеству раненых пруссаков, попадавшихся нам навстречу по дороге и виденных нами в городских больницах, надобно судить, что Лютценское дело было жестоко и что подданные Фредерика оправдали в этом первом опыте мнение Европы, взирающей на них как на новый оплот против грозного потока, стремившегося опровергнуть политическую свободу народов. К чести прусских воинов должен сказать, что их раненые среди жесто-

чайших операций не перестают заниматься благосостоянием отечества: они молят о жизни для того, чтобы вновь сразиться с врагами и – умереть свободными!

Из Либерозе был я послан курьером в место пребывания главнокомандующего армиями, отступавшими от Лютцена. В Мускау забраны были все почтовые и обывательские лошади; последнюю пару закладывали при мне для английского курьера, едущего к графу Витгенштейну. Смятение в городе было общее; ожидали в него неприятеля, передовые войска которого находились за несколько миль. Я был в самом горестном положении: дожидаться здесь принца было бы не исполнить данных приказаний – и для того брал я уже в руки страннический посох, чтобы дойти до первой станции, где мог еще иметь я лошадей. Англичанин, сжалившись надо мной, предложил мне уголок в своей повозке, только с одним маленьким чемоданом. Прочее офицерское имущество вынужден я был оставить у почтмейстера с тем, чтобы он передал его свите принца, обещавшего ехать по моим следам. Против ожидания моего, принц взял

другой путь, а Мускау, с моими пожитками, через несколько часов достался в руки неприятеля.[20] 8 мая в полночь прибыл я в Герлиц, где, получив свежих лошадей, отправился с рассветом 9-го в деревню Вуршен, полагая найти в ней главную квартиру. На почтовой повозке был я зрителем начала и продолжения Бауценского дела; был свидетелем, как русская грудь отстояла высоты Кенитца, Мелтейера и Пилитца. Скоро казаки проводили нагайкой моего почтальона, с повозкой, на обратную дорогу к Герлицу, а мне предложили за небольшую плату взятую в сражении неприятельскую лошадь, на которой поскакал я отыскивать 2-ю гренадерскую дивизию. Тут соединился я с шефом моим, принявшим уже над ней начальство. 9-го же вечером начали мы отступать. Поздно в ночь слышны еще были громы, пускаемые с высот, рассыпанных по пути к Герлицу. Каждая гора служила уступом, о который опирались наши силы. Глядя на эти высоты в ночное время, казалось, что сами небеса бросают на врагов перуны свои. Отступление союзников есть примерное в летописях военных. Движения на-

ших войск происходят в величайшем порядке, так что они похожи на маневры, давно выученные – хорошо изъясненные начальниками, совершенно постигнутые и исполняемые нижними чинами. Ни одного шага даром не выиграл до сего времени у нас неприятель.

Об Герлице ничего не могу сказать. Все, что в нем есть любопытного – по крайней мере то, что я слышал в два часа, которые в нем пробыл, – есть изображение окружности святого Гроба Господня, в маленьком виде, в одной из церквей здешних, наподобие того, который мы имеем в Воскресенском монастыре или Новом Иерусалиме под Москвой. Говорят, что женщины здесь прелестны и что отсюда произошла пословица: *in Sachsen schöne Mädchen wachsen* (Саксония есть родина прекрасных девушек). Большая часть тех, которых я здесь видел, оправдывает эту пословицу.

Много белых листов остается в записной книге моей. Часто, расположившись близ bivачного огня, раскрываю ее – и от усталости роняю карандаш на первой начатой строке, дарю Морфея всеми моими походными заме-

чаниями.

Г. Нимч в Шлезии, 10 июля

Главная квартира по-прежнему расположена на около Рейхенбаха. Перемирие продолжается (оно назначено было до 8 июля, но по истечении срока отдалено еще до 4 августа). Противные стороны пользуются им, готовят новые перуны для нового ратоборства. Австрия наблюдательным оком смотрит на эти приготовления и ожидает только случая, чтобы перейти на сторону справедливости.

Мы получаем беспрестанно свежие подкрепления. Смотры продолжаются. Все предвещает битвы ужасные.

На днях государь император с прусским королем посетили Нимч. Первый, будучи встречен нашим корпусным начальником, генералом Раевским, спешил обнять его. Милостивое обращение с ними его величества восхищает гренадеров.

Справедливая дань, отдаваемая монархом достойному полководцу перед лицом преданного ему войска, есть залог новых побед. Полюбовавшись прекрасным караулом, данным

их величествам от Санкт-Петербургского гренадерского полка, они отправились в приготовленные им жилища. На другой день, в 6 часов утра, в семи верстах от Нимча, на удобном поле, делали они смотр нашим гренадерам. Наружностью этих войск и движениями их государи были очень довольны. Сыны Севера в приветствиях любимого монарха очерпнули новое мужество и силу. После смотра генерал Раевский угощал их величества завтраком вблизи лежащей мызе Коблау. Сядя за стол, император вспомнил о хозяйке дома баронессе Эйгорн и пригласил ее, со свойственной ему любезностью, взять место возле себя. После завтрака его величество изволил долго разговаривать вполголоса с австрийским генералом, присланным с поручениями от двора своего. Говорят, что он вестник присоединения Австрии к священному союзу.

Государь император и прусский король, удостоив в этот день нескольких лестных слов любезнейшего нашего полковника Жемчужникова, почтили этим милостивым вниманием в храбром, отличном офицере заслу-

ги и дарования.

Временем отдыха, дарованного нам перемирием, пользуемся следующим образом. Иногда собравшись толпой наездников, на перелетных донцах, с неразлучной нагайкой за плечами, обтекаем живописные окрестности. То на равнинах образуем эскадроны, пускаемся в нападения, рассыпаемся, собираемся, настигаем друг друга, убегаем один от другого – и в этих невинных играх делаем опыты тех грозных битв, которые, может быть, многим из нас будут стоять жизни. То, отделившись от соратных друзей, еду на шум зовущего к себе ручейка. В надежде на верного коня, спускаюсь с крутой горы – рядом с грозной опасностью и вслед за ней. Зато как приятно достигнуть, сквозь препятствия, цели своих желаний; как сладостно любоваться с твердой земли прошедшими ужасами! Нередко, следуя за стопами своенравного путника, не хотевшего идти за другими по обыкновенному пути, запутываюсь в густоте рощи. В таком случае ауканье пастушки, или тирольская песня, или заунывные отголоски родных звуков служат мне проводником. Почти каж-

дое хорошее утро бываю за три версты отсюда, в деревне на серных водах. Там часто встречаю генерала Раевского, пользующегося ими.

Случается, что он, приехав туда после нас, обер-офицеров, и не застав ни одной порожней ванны, дожидается нашего выхода, не приказывая даже своему слуге беспокоить нас извещением, что он находится в передней комнате. Воды эти делают много пользы нашим раненым и другим случайным больным.

Чаще всего посещаем, близ Нимча, местечко Мариендорф, где поселилось общество гернгутов (Herrnhuten). В этих путешествиях бывают мне приятнейшими спутниками адъютант генерала Раевского, князь Трубецкой, умный, любезный молодой человек, и милый Неелов, адъютант генерала Чоглокова. С такими товарищами удовольствия получают новую цену.

Если вы читали прекрасное описание Сарепты путешественником в полуденную Россию, то можете сделать себе понятие о здешней колонии. «Но воображение, – говорит Из-

майлов, – не представит себе никогда того, что глаза видят здесь». Правда, нет такого искусного пера, такой волшебной кисти, которые могли бы передать сей способности ума полную, живую картину завидной жизни гернгутов. Видеть собственными глазами зрелище их нравов, обычаев и жилищ есть наслаждение неизъяснимое; но кто лишен такого случая, доволен будет, когда передадут ему, хотя неполное, описание их, когда поделятся с ним, хотя пополам, этим наслаждением. Заключенный рукой судьбы в тесной клетке своей счастлив, порхая и мечтами за вольной птичкой.

Скажите мне: радуется ли вас, когда, проходя по голой, пустой равнине, услышите от встречного вам путника, что скоро представятся вам полянка, цветами усыпанная, сверкающий в долине ручеек и красивый уют селянина? Так утешала нас по дороге в колонию мысль, что мы скоро в ней будем. Завидев издали красные крыши из черепицы, предчувствуешь уже какое-то приятное зрелище. Широкая дорога, осененная с обеих сторон тополями, наподобие пирамид вознося-

цимися, ведет вас в колонию с четверть версты. Въезжаете в местечко, и предчувствие ваше всем подтверждается. Улица широкая; чистота на ней чрезвычайная. Дома небольшие, но почти все двухэтажные; они выштукатурены снаружи и все выкрашены в один цвет. Кажется, что они принадлежат одному хозяину, в одно время строились и в один час dokonчены. Вы не найдете здесь не только ветхого дома, но даже такого, который несколько мрачной наружностью своей напоминал бы вам, что он стоит уже года три, четыре: вся колония как будто на днях отстроена. Если позволено придать жизнь зданиям, то и я сказал бы, что местечко улыбается весне своей. Внутренность домов отвечает наружности. Войдите в первое жилище: к сапожнику, в конфетную лавку, к книгопродавцу, к седельнику: везде тот же порядок, та же чистота. Опрятность, радовавшая меня между немецкими жителями, доведена здесь до совершенства: вы найдете ее в одежде, в мебели, в пище и – в нравах здешних поселенцев. Колонист одевается просто и чисто; в праздничные дни бывает одет не чище, но несколь-

ко щеголеватее. Приятная наружность его выражает душу благородную и добрую, свободную от угнетения нищеты и высокомерия роскоши; — он только тогда хмурится, когда встречает человека в запачканной одежде и с черной душой. Высшего и низшего состояния между ними не существует: золотая посредственность всех уравнивает; излишество отдается неимущим. В разговорах их, в их поступках не заметил я ничего такого, что могло бы заставить краснеть нравственность. Я приезжал сюда в праздники и не видел между ними пьяного. В простые дни, когда бы ни пришли к геррнгуту, всегда застанете его за работой. Трудолюбие и порядок суть душа их общества; надобно прибавить и честность, потому что вы нигде ничего дешевле и прочнее не купите, как у колониста. Показывая свой товар, он делает это с усердием, с желанием вам угодить; но не навязывая его, не сердясь, если он вам не понравится.

Храм молитвы, дом воспитания благородных девиц и больница для бедных одни возвышаются над прочими зданиями; но во внутренности их соблюдены те же порядок и

простота. Почти всякий раз, как бываю здесь, посещаю дом воспитания. Иногда застаю престелстных малюток за учением. Какая тишина, какое внимание к наставлениям учительницы! Какое же с ее стороны усердие передать ученицам свои собственные знания! Здесь не обременяют памяти детей задачей разнообразных уроков, чтобы составить потом в голове их мрачный хаос происшествий и наук. Что они слышат во время учения, то видят, то и чувствуют. Для них история есть зрелище добродетелей и пороков, а не подробное летоисчисление; география у них картина мира с его обычаями, нравами, силами, богатством и красотой, а не сборище городов, рек и прочего; математике учатся они не для хвостовского решения задач алгебраических, а для домашнего употребления; берут они уроки танца, чтобы развязать тело, а не оспаривать на балах первенство искусства у соперниц; музыке обучают их для собственного их удовольствия и семейства, в котором судьба укажет им жить, а не для того, чтобы собирать шумные плески. Искусством рукоделия своего воспитанницы могли бы гордиться. Вы сде-

лаете им угодное, если купите что-нибудь из трудов их у надзирательницы, потому что деньги, от этого выручаемые, отдаются бедным. Между ними есть уже несколько девушек, готовящихся быть супругами. Быстрый румянец на щеках и томные, потупленные взоры говорят, что пора любить для них приходит. В школе скромности, простоты, трудолюбия и благотворения воспитанная, может ли не сделать счастья честного человека, которому сердце на нее укажет? Правда, что он не найдет в ней ни балерины, ни музыкантши, но получит с ней верную, добрую жену.

Здесьнее кладбище есть сад; каждая могила в нем есть цветник. Вступая в жилище смерти, вы не видите ничего, что бы нам ее напоминало, чтобы пугало вас грозными ее принадлежностями. Гуляете по тенистым каштановым аллеям, рассматриваете маленькие возвышения, с которых веет аромат тысячи цветов, приятно для глаз посаженных; любуетесь красивыми памятниками, кое-где между ними возвышающимися; читаете надписи, дышащие простотой и нежностью; покоитесь в тени деревьев, осеняющих цветные

холмики, – и душа ваша наполняется не ужасом перехода из этой юдоли в мрачный гроб, но тихим, сладким предчувствием бессмертия. Надобно быть здесь в праздничные дни, чтобы видеть, как полна жизни обитель смерти. Тогда все колонисты, с семействами своими, собираются на могилы друзей и родственников; вспоминают их не нытьем, заранее выученным, но потаенными слезами, тихими вздохами. В это время сад делается настоящим гульбищем, ходят по тенистым аллеям, разговаривают о добродетелях покойных, молчат о порочных и в сладкой беседе об умерших научаются *жить*.

Г. Нимчъ, 20 июля

Военные братья, здесь живущие при Корпусном штабе, собираются часто в городском саду. В числе этих посетителей бывают полковники Писарев, Княжнин и барон Дамас: все отличные умом и познаниями офицеры. Первый известен и на литературном поприще. Иногда корпусный наш начальник генерал Раевский украшает своим присутствием беседу собирающихся в здешнем саду. Душой же такой беседы бывает гусарский полковник Денис Васильевич Давыдов, известный партизан и певец вина, любви и славы. Нынешняя война, примерная исполинскими подвигами русского народа, достойна также замечания по некоторым людям, рожденным ею с отличной печатью военных дарований. Можно назвать их оригиналами; все в них особенное, даже странное – разговор, одежда, дела их: они создали для себя особенную сферу, и действуют в ней для пользы Отечества и собственной славы. Другой характер был бы им неприличен. Надобно родиться подобно им; воспитанием нельзя приобрести то, что

природа им дала. Всякое подражание им было бы достойно смеха: это походило бы на басню зверя, ходившего в львиной шкуре. Первый взор помещает партизана Давыдова в число этих знаменитых оригиналов – нынешняя война дала ему между ними почетное место.[21]

Ведет ли он в рубку гусар своих или казаков на славную добычу; рассказывает ли анекдоты, поправляя ус чернобурый в завитках; славит ли в песнях своих бивуачную жизнь, пламенный нектар и любовь: везде он единственный, неподражаемый Давыдов!

Мы составляем иногда свой обер-офицерский кружок; рассказываем друг другу, что видели, слышали достойного замечания в течение прошедшей кампании; рассуждаем о деяниях и характерах полководцев; не забываем в таких случаях и подвигов нижних чинов. Сообщаю здесь нечто из того, что почерпнул в этих беседах.

Обыкновенный полководец, смешанный в толпе ему подобных, ограничивает свои действия слепым исполнением данных ему наставлений; ум его прикован к черте, предпри-

санной ему по необходимости времени или обстоятельств. Но военный Гений, действуя с благоразумной покорностью в назначенном ему кругу, творит другой обзор, другое поле для своих подвигов; обтекая свое поприще орлиным полетом, он назначает место, где воспользоваться слабой стороной врага, чтобы вернее поразить его, где поставить новый памятник славы своему царю и Отечеству. Таковым видели мы всегда графа Воронцова; таковым явился он в следующем подвиге, хотя не вполне совершившимся, но по одной мысли, по одному начертанию достойном занять отличное место в истории нынешней войны.

Оставленный с небольшим отрядом, из русских и пруссаков состоящим, на берегу Эльбы против Магдебурга для блокады этой крепости граф Воронцов имел за ней строжайшее наблюдение. Сообщения между городом и неприятельской армией были прерваны; курьеры, посылаемые из того и другой, перехвачены. Казаки Мельникова полка, переплывая реку с верными конями своими, возили ужас на концах своих копий под стены самого Магдебурга. Французы не только не

осмеливались сделать движение на Берлин – чего опасаться должно было, – но, содержащиеся в беспрестанном ожидании увидеть русское знамя на бойницах Магдебурга, готовились единственно к собственной защите. Граф, считая это состояние робости, в котором видел неприятеля, удобным для совершения, в стороне от него, необыкновенной военной стратагемы, могущей принести нам большие выгоды, спешил ее исполнить.

В Лейпциге оставлены были Наполеоном, при самом слабом отряде, ремонт лошадей на несколько эскадронов, множество военных снарядов, несколько артиллерии, казенные ящики, магазины с провиантом и госпитали. Такая добыча достойна была русского штыка. Граф Воронцов решился присоединить ее к другим трофеям нашим, не делая со своей стороны никаких важных пожертвований.

Между Эльбой и местечком Рослау находился в распоряжении русских соляной завод, на котором изготовлено было большое количество соли и с которого хозяева с приближением неприятеля удалились. Граф приказал объявить окружным жителям, что всякий же-

лающий может за ней приехать и брать ее безденежно столько, сколько поднять в силах на лошадях своих. Для получения соли был назначен один час. Это объявление настолько обрадовало поселян, давно нуждавшихся в одной из первых потребностей жизни, что большое число жителей ближайших сел, побуждаемо или необходимостью или корыстолюбием, оставили свои дома и в назначенное время прибыли к соляному заводу на огромных возах, большей частью запряженных в четыре сильные лошади, так что возов таких насчиталось до 500. Пользуясь этим случаем и темнотою наступившего вечера, по данному приказанию несколько батальонов вышли из закрытого места и заняли все повозки без исключения, не отпуская от себя хозяев. Последних предупредили, что их собственность будет сохранена и с ними поступят дружелюбно; удовлетворить же их требования обещались через день. Между тем для лучшего закрытия наших движений оставлена была на прежнем своем месте часть отряда, занимавшая передовые посты. Полковник Красовский, всегда готовый угадывать мысли своих

начальников, храбрый и испытанный офицер, содействовал еще более сему маскированию, сделав на другой день бал в своем лагере. Гром полковой музыки раздавался даже на противоположном берегу Эльбы, под стенами самого Магдебурга; посетительниц приехало очень много из округи. Французские офицеры, прельщенные сими веселостями и обеспеченные нашим спокойствием, вышли на свой берег с жительницами Магдебурга в таком множестве, что берег сей был ими усыпан. В продолжение ночи граф Воронцов, сделав с летучим отрядом своим около 60 верст, встретил первые лучи солнца под стенами Лейпцига. Он послал туда немедленно офицера с извещением французского коменданта о своем прибытии и с требованием сдать русским в несколько часов все, что принадлежало одноглавому орлу Франции; в случае же отказа несколько тысяч штыков готовы были повторить эти требования в стенах самого города. К счастью французского коменданта, он только что получил от своего императора уведомление о заключенном с российским государем и королем прусским перемирии. Без

этого случая должен бы он был сдаться военнопленным новому Олегу и принести в дань его стратагеме все, что имел под распоряжением своим в Лейпциге. В ответе своем доносил он графу Воронцову об этом перемирии и в доказательство справедливости своих слов послал к нему в залог (аманатами) несколько известнейших офицеров. Прибывший вскоре из российской армии курьер подтвердил это известие. С сокрушением сердца герой отступил от Лейпцига.

Повторяю: подвиг сей, хотя не вполне совершившийся, достоин дани уважения военного историка по одной смелой и великой мысли начертавшего его Гения.[22]

13 июля 1812 года

Под Островной неприятельская артиллерия, желая сбить русский отряд с поста, который оному непременно удержать должно было для пользы движений прочих наших войск, действовала со всем постоянным ожесточением многочисленности орудий и со всем искусством ими управляющих. Беспрерывный огонь ее, продолжавшийся несколько часов, носил гибель и смерть в ряды русских. Донесли об этом графу Остерману, начальнику отряда, и спрашивали его, что он прикажет делать. «Ничего не делать, – сказал он. – Стоять и умирать!» Конец битвы увенчал успехом такой геройский ответ, достойный стоять в Истории наряду со знаменитым изречением старого Горация.[23]

Русский солдат славится не одними подвигами на поле брани; он достоин венка и за мирные добродетели.

По окончании Бородинской битвы, когда смерть утомилась над бесчисленными жертвами своими, раненый рядовой 2-й роты сводного Гренадерского батальона Никифор Ишу-

тин, присоединяясь к роте своей, шел медленно за ней с поля сражения. Вдруг слышит он за собой слабые стоны, которые – казалось ему – звали его на помощь. Пренебрегая страхом попасться в плен к неприятелю, расставлявшему в виду его свои пикеты, он возвратился на то место, откуда доносились звуки умирающего голоса. Там нашел он роты своей прапорщика Франка, плавающего в крови от полученной им тяжелой раны пулей в ногу. «Бог принес меня к вашему благородию, – сказал он. – Дам ли я неприятелям ругаться над вами?» Несмотря на собственную боль, он взвалил офицера на плечи свои и готовился один нести его из опасного места, как другой солдат той же роты, видевший издали его усилия, присоединился к нему и помог ему донести драгоценную ношу в цепь, где перевязывали раненых. С этого времени Ишутин не отходил от больного Франка; в продолжение отступления достал ему с лошадью повозку, кормил его, перевязывал раны и смотрел за ним, как нежный отец. При выходе русских войск из Москвы, несмотря на увещания товарищей и тамошних жителей, он не рас-

стался с умирающим офицером. Все, что они претерпели в пребывание неприятелей в древней столице нашей, не может быть описано. Довольно сказать, что дом, в котором они нашли было себе покойный уголок, предан был пламени злобными пришельцами. В этом случае Франк должен был погибнуть, если бы верный Ишутин не вынес его из огня на плечах своих, как благочестивый Эней отца своего Анхиза.[24] Обоих сохранил Всевышний; оба наслаждаются жизнью: один утешаясь добрым делом своим, другой – радуясь, что может говорить о своей благодарности солдату-благодетелю.[25]

Кто не знает суровой дисциплины, в которой содержит казаков знаменитый атаман их граф Платов? Один взор, одно слово его имеют над ними волшебное действие. Часто останавливал он бегущих, показывая им только издали грозную нагайку свою; часто обращал их к победе любимым своим изречением: «На Донской земле костей не погребу!» – изречением, с которым сливается все священное для души казака, с которым никакое красноречие не может сравниться.

Лаун, в Богемии, 22 августа

Великая надежда союзных монархов, надежда самой Франции – Моро скончался. Он умер так, как жил, – Героем.

Генерал Моро, совершив в 31 день путешествие свое из Америки в Европу, поспешил в те места, куда взоры и сердца народов ожидали его с нетерпением. День появления его в Праге (3 августа, накануне разрыва перемирия) и следующие за ним были днями торжества для жителей и войска. Говорят, что прибытие его произвело некоторое волнение в легионах французских и на чело предводителя их надвинуло мрачные тучи подозрения. Союзные монархи на перерыв старались доказать славному гостю, сколько он им любим и необходим для назначения решительного пира народной свободы. Российский император особенно умел столько пленить его своим милостивым обращением, что генерал забыл прошедшие бедствия свои, изгнание, неблагодарность отечества, разлуку с семьей и друзьями и, казалось, обрел их в русском государе. Он называл его всегда *лучшим*

из смертных.[26] Вспыхнувшее в некоторых полках французских неудовольствие; невольный восторг народов; надежда союзных войск и предводителей их; уверенность монархов – все, казалось, предвещало, что Гению Моро предоставлено было сказать Европе: «Ты свободна!» Но судьба, определив славу освобождения ее другому избранному, расположила иначе.

15-го числа

Несмотря на сильный дождь, препятствовавший действовать огнестрельным оружием, дело под Дрезденом еще к полдню продолжалось. Российский император, Моро и два английских генерала Каткарт и Вильсон стояли за прусской батареей,[27] на которую устремлено было в лицо и в крыло сильное действие двух неприятельских батарей. Моро находился не далее как на четыре шага от государя, рассказывая ему о некоторых тактических наблюдениях. В это время ядро, пролетев мимо императора, раздробило совершенно у французского генерала колено левой ноги и, перерезав пополам лошадь, снесло икру

другой ноги. Всех нежных попечений, оказанных ему при этом горестнейшем случае российским государем, невозможно пересказать. Но ни заботы монарха, ни искусство известнейших медиков, ни молитвы народов не могли спасти героя. Он скончался здесь 20 августа. Последние слова его обращены были к нежной супруге и венценосному благодетелю. Славная *смерть* его, конечно, украсит страницу в истории *жизни* русского государя.

Строки, начертанные его величеством вдове знаменитого Моро, в излиянии сердечного соучастия в горестной ее потере, будут говорить векам грядущим о величии его души.

Лаун, 23 августа

Гордись, Россия! Дух сынов твоих победил величие Греции и Рима. Ты не имеешь более нужды, в пример питомцам твоим, указывать на родину леонидов и сципионов: ты перенесла ее с этими героями на священную твою землю. Потомство твое, при новых непомерных подвигах мужества, не будет более говорить: они сражались и умирали, как спартанцы под Фермопилами. Нет! Сыны и внуки наши скажут тогда: они сражались и побеждали, как *русские под Кульмом*.

17 августа

Восьмь тысяч русской гвардии встретились в горах Богемии с неприятелем, пять раз превышавшим их силой своей.[28] И многочисленность врагов, и мужество их, многократными боями неутомленное, и самонадеянность их полководца (Вандамма), и защита их самой природой, против нас вооружившейся и стеснившей нашу малую рать между своими грозными утесами: все, казалось, предвещало гибель русских. Но питомцы Севера не считают врагов; не страшат их угрозы природы – за них слава имени царских охранителей; сильны они духом и верой во Всемогущего; ведет их Остерман, с ними Ермолов – и русские славят Бога победы на горах Кульмских!

Именуя одного героя этой битвы, именуешь всех, в ней бывших. Довольно сказать, что каждый из них имел против себя пять поборников, и каждый остался победителем.

Но душой, предводившей мышцами и духом этих героев, главной твердыней, о которую сокрушились искусство и силы врагов,

первым виновником победы был Остерман. Ему венец ее; ему восторг современных народов, неизменная любовь потомства и беспристрастная дань будущего Историка! Богемия одолжена ему своим опасением; Россия – новой степенью славы! Ермолову принадлежит второй венок, который не увянет под зноем и бурями времен и, может быть, получит новый блеск в руках справедливого бытописателя. Один, как пламенный Леонид, готов был погрести себя в горах Богемии за честь русского имени; другой, как холодный Мильтиад, готов был действовать и распорядиться даже и тогда, когда бы все погибало. Один, хотя вселенная сокрушалась бы и грозила бы подавить его своим падением, взирал бы на разрушение мира без содрогания; другой в этом случае искал бы еще в уме своем средств, как отворотить падение вселенной! Остерман, потеряв руку, не чувствует страданий: он забыл себя – он мыслит только о славе своего Отечества. Вынесенный с места сражения, готовясь к труднейшей операции, при дверях гроба – он весь еще на поле битвы; он весь среди храбрых своих сподвижников! «О чем плачете

вы? – говорит он с твердостью патриота и христианина окружающим его. – Левая рука у меня лишняя: осталась еще другая для защиты Отечества, служения государю и творения святого креста!» Потеря крови и истощение сил ввергают его наконец в сильный обморок. В это самое время подъезжает к нему прусский король, поспешив слезть с лошади, расспрашивает с живейшим участием сопровождающих храброго вождя о состоянии его раны, и, заключая по ответам их, что жизнь его в опасности, венценосный друг человечества не может сдержать слез своих. Но, к общей радости, герой через несколько минут открывает глаза. Первым в нем знаком жизни есть мысль о государе – и на краю гроба, в самых холодных объятиях смерти, эта мысль в нем не погасала! «Est-ce vous, Sire? L'Empereur mon maitre est-il en sureté (Ваше ли величество вижу? В безопасности ли государь император?)» – спрашивает он короля прусского и, заметив слезы на лице его величества, силится привстать, чтобы изъяснить свою признательность, с этими слезами навсегда в душе его запечатленную.[29] Прине-

сенный под сень леса, куда не достигали ядра неприятельских батарей, доверив совершение операции молодому Кучковскому, физиономия которого ему понравилась, – в те самые минуты, когда готовились отнять у него руку, приказывает он стоявшим у лесочка гвардейским музыкантам спеть *русскую* песню. Вскоре приносят несколько знамен, отбитых у неприятеля. При виде этих трофеев взоры героя блистают огнем радости; душа его наслаждается восторгом, которого он сдержать не может. «По крайней мере умру непобежденным!» – восклицает он голосом сердечного торжества. Ермолов, приняв начальство, не охлаждает геройского духа русских воинов. «Товарищи! – говорит он им. – Взгляните на храброго, израненного начальника вашего. Не дайте смеяться над нами врагам. Вспомните о славе прошедших битв, о величии имени русского; подумайте и о том, что потерять и что приобрести ныне можете. На вас смотрит родина с колыбелью ваших детей, с могилами ваших отцов. На вас взирает сам государь, сей драгоценный залог, препорученный нам ныне самими Небесами. Пока-

жите народам, что вы истинные телохранители его; докажите врагам, что вы русские!» И воины, вновь воодушевленные словами и примером любимого начальника, стремятся с яростью на врагов, разят, гонят их, берут в плен – и победа решена!

*И русский в поле стал, хваля и
славя Бога*

Проезд графа Остермана через здешние селения есть настоящее торжество героя. Жители, стремящиеся толпами видеть избавителя Богемии, покидают свои дома, оставляют работы свои, заграждают ему дорогу и теснятся около него с благоговением. Девы усыпают путь его цветами; старцы, слишком слабые, чтобы дотащить до него, со слезами на глазах простирают к Небу руки, моля Его о сохранении дней великого мужа; матери заставляют детей своих лобызать края его одежды: везде встречают и провожают его благословениями; везде отдается слуху и сердцу его имя спасителя Богемии.[30] Торжество, достойное истинного Героя, льющего кровь свою для пользы Отечества и спокойствия его союзни-

ков, – торжество, которым не может наслаждаться честолюбец, по прихотям своим разрушающий тишину и счастье в семействах!

На высотах Монмартра, 6 часов пополудни 18 марта

Еще влево от нас, в корпусе генерала Раевского, громы изредка отдаются; вот уже утихают, вот и совсем замолкли! Вправо от нас в гренадерском корпусе все давно молчит. Перед нашим строем московские гренадеры, по приказанию главнокомандующего, ломают телеграф. Солдаты, рассыпанные в стрелках, собираются к полкам своим, ведя за собой по нескольку пленных французов. Я сижу у окна в небольшом красивом доме, стоящем на гордой высоте, многими подобными домиками, мельницами и виноградными садами усыпанной. Впереди под нами стелется в море тумана обширная столица Франции. Напрягаю зрение, хочу видеть Париж и вижу одну мрачную группу зданий, взгроможденных, кажется, друг на друга и теряющихся вдали сизой, бесконечной полосой. Взоры с удовольствием то носятся над туманной без-

дной города, то гуляют влево по зеленым берегам Сены или возвращаются в ряды северных героев и не знают, где остановиться. Вдруг наступает глубокая тишина!..

Главнокомандующий Барклай-де-Толли и граф Милорадович, русский Баярд (*Chevalier sans peur et sans reproche*), подъезжают к нашим рядам и поздравляют воинов, участников в нынешнем деле, со взятием Парижа. Громкое радостное «Ура!» разливается по высотам Монмартра. Начальники и подчиненные приветствуют и обнимают друг друга; лица всех блистают улыбками. Победители, в упоении своей радости, не видя более в побежденных пленников своих, хотят разделить с ними настоящее торжество разными ласками и уверением в скорой их свободе. Благородные души любят счастьем своим делиться с другими; чувство радости соделало всех друзьями и братьями. Если бы я мог иметь на свете врага сильного, непримиримого, человека, который лишил бы меня того, чего нет дороже для меня в мире, одним словом, человека, который разлучил бы меня навсегда с другом или с милой; если бы он при-

шел теперь и просил моей руки в завет нашего примирения, я дал бы ему руку – как быть? – отдал бы с нею и сердце мое! Уверен, что всякий из нас готов сделать то же в минуту нынешнего торжества. Посещает ли мрачное чувство ненависти душу, наполненную чистым восторгом?

Рассказывают нам, что государь император, получив договоры о сдаче Парижа, обнял с восхищением прусского короля и сказал: «Слава Богу! Кровь человеческая более проливаться не будет». Священные слова, которые каждый царь должен вписать в сердце свое! Слова, которые включены уже золотыми буквами в летопись великого Судьи!

Нынешнее дело было довольно жаркое. Хвала гренадерам, решившим судьбу центра твердой грудью и бестрепетной душой! Французы узнали в них победителей при Нови и Требио и переходцев гор Альпийских. Слава и вождям этих войск! Начальник 2-й гренадерской дивизии генерал-лейтенант Паскевич и командир одной из ее бригад генерал-майор Писарев были душой наших отрядов. Оба известные своей храбростью, оба любимцы

славнейших русских полководцев нашего времени и верные спутники их побед; оба сражавшиеся в первый раз один в глазах другого, искали, кажется, показать один перед другим, что общая молва не договорила еще всех подвигов их. Какое похвальное рвение, какое примерное мужество их воодушевляли! Враги удерживали ли с упорностью выгодное для них место – являлся генерал Паскевич, герой Вязьмы и Модлина, ободрял гренадер взором и словами – и враги немедленно уступали твердыни. Заседали ли неприятельские стрелки в домах, за густыми деревьями и за высокими каменными оградами, служившими им крепостцами, – показывался генерал Писарев в цепях наших стрелков, водил их сам к нападению, не давал быстрым распоряжением их движений опомниться врагу – и эти же самые защиты неприятельские обращались в собственную нашу оборону и нападение. Можно сказать, что он рвал лавры из-под лезвия смертной косы. Волновалась ли судьба битвы – одно присутствие, одно слово героев решали ее! Адъютантам не нужно было искать их *позади*; посланные к ним с при-

казаниями не получали в ответ, что им *нет времени* и что им нужно ехать *далее* для переговоров с высшими шефами о полковой экономии... Напротив того, они сами были везде видимы, сами спешили туда, где спор битвы требовал их распоряжения и где опасности вызывали их мужество на труднейшее, славнейшее поприще. Офицеры и солдаты, глядя на них, не дивились, что шаги победы покупались ими так быстро у врагов, и явясь на высоте Монмартра, где кончались их подвиги, они думали, что начинали только действовать. Храбрый артиллерийский полковник Нилус, спокойно раскуривая трубку, бросал с гордой высоты громы на парижские бульвары. Думаю, что не одни шифоньерки и бонбоньерки разлетелись в стороны от его грозных посылок. Неустрашимый полковник Жемчужников, командуя в этот день Перновским полком, доказал, что в состоянии сделать с русскими солдатами начальник, изведавший их души. «Кому честь и слава быть первыми в Париже?» – спросил он гренадеров, указывая им на заставу Бельвильскую. «Нам!» – отвечали сотни храбрых и ринулись вперед сквозь

тучи пуль и картечи. «Нам!» – повторили другие, шагая через трупы своих и неприятелей, – и вскоре приветное «Ура!» раздалось за воротами Бельвиля.[31] Московские гренадеры славно мстили за столицу, подарившую их своим именем. Майор их Повало-Швейский, распоряжаясь движениями всех гренадерских стрелков, подвел их к парижским заставам. Когда ему заметили, что пуля сорвала эполет с правого плеча его и зацепила само тело, он сказал, улыбаясь: «В таком славном деле и потеря руки безделица». Горбунов, подпоручик московского полка, надев на себя патронную суму с убитого солдата и схватив ружье его, носился сам впереди стрелков своих. Грозным штыком свергнул он с лошади французского офицера (батальонного начальника),[32] не желавшего с несколькими солдатами сдаться ему в плен, – видно, что рука и сердце не дрогнули!.. Киевцы и малороссияне, следуя примеру своих предводителей, действовали с большим мужеством. Я видел, как молодые солдаты стремились опередить старых гренадер, как новобранцы, истреляв (недаром!) все патроны свои, прибежали к сво-

им начальникам с просьбой дать им новые заряды и, получив их, спешили на свои места – разить или умирать. Главнокомандующий, видя, что гренадеры слишком скоро подавались вперед и тем опережали левое наше крыло, прислал сказать им, чтобы они медленнее наступали. Победа наша тем более достойна славы, что куплена у храбрых. Ученики Парижской Политехнической школы дрались в этот день, как молодые разъяренные львята, у которых отнимают мать их. В первый раз явились они из классов на поле брани; ученики сражались с искусством ветеранов и умирали героями на пушках, забираемых победителями.

Совершенная сдача Парижа подтверждена новыми известиями. Тем достопамятнее будет нынешнее число, что Буонапарт в прокламации своей французскому народу от 18 марта 1813 года сказал: «Хотя бы союзные войска стояли на высотах Монмартра, я не уступлю им ни одной деревеньки из областей, вошедших в состав империи». 18 марта 1814 года голоса победы союзников разносятся на высотах этих; завтра вступаем в Париж.

Идем сейчас занимать бивуаки в Бельвиле.

Что сказали бы вы, почтенные Капеты, вы, основатели французского царства, и ты, Генрих, отец своего народа, и ты, великолепный Лудовик XIV? Какое чувство изъявили бы вы, сюллии, колберты, тюренны, расины и вольтеры, подпора и слава отечества своего? Что рекли бы вы, когда, стряхнув с себя сон смерти, услышали бы радостное «Ура!» славян на высотах Монмартра?.. Приникни, Великий Петр! И увенчай улыбкой своей достойного твоей славы правнука.

Бельвиль, 7 часов утра 19 марта

Бельвиль, большей частью заключающий в себе увеселительные загородные дома парижан, можно уже назвать предместьем города – так тесно соединен он с ним; он есть притом и предвестник его великолепия, щегольства и вкуса. Дом, занимаемый нашим генералом, убран рукой этих трех спутников роскоши. Огромные зеркала, двадцать раз отражающие один предмет; эластичные кушеты и кресла, напоминающие вам утонченные нравы века Альцибиадов и Аспазий; пышные по-

стели, которые можно скорее назвать престолами любви и неги; туалет, убранный самими Грациями, конечно, для одной из сестриц их, окруженный всеми богатствами царства Флоры; небольшая библиотека, заключавшая в себе всю сущность французской словесности под самой красивой наружностью; ковры, спорящие рисунками своими с Природой; севрский фарфор, богатые кенкеты, щеголеватые фермуары, потайные ящики: одним словом, все, до чего ни дотронешься, на что ни взглянешь, создано для тончайшего наслаждения наших пяти чувств, для ума и вкуса!

Хозяева дома оставили его на произвол победителей. Еще свежи следы их бегства: вот развернутая книга, на столе покинутая; вот чайный прибор, который не успели еще прибрать к месту; вот другие безделушки, которые нетрудно бы взять с собой, но которые унести не было времени: все доказывает, что парижане, обманутые (вместе со всей Францией) красноречивыми утешениями Наполеона, оставались покойными в своих жилищах до того самого часа, как начали стучаться у дверей их грозные вестники нашей артил-

лери́и – вестники, очень часто посылаемые докладывать Парижу о прибытии северных гостей. Где любезный братец Иосиф, обещавший городу быть Палладиным щитом его? Где корпуса избранных, несомненная защита столицы Франции? Где городское ополчение, герои Пантеня и предводители их, столько храбрые словами? Первый с сокровищами своими бежит без души во внутренность королевства; другие в смятении удаляются к Фонтенэбло; последние, увы, разошлись по кофейным домам – потоплять свое горе в круговых чашах. Как бы то ни было, вместо бродящего, отделенного от главной армии небольшого отряда наездников (как разглашали Буонапарт и подкупленные им журналисты), вместо этого слабого отряда цвет и сила союзных войск вступают в Париж. Хотя французы называют нас северными варварами, мы, однако же, можем похвалиться перед ними учтивостью: как скоро, как благородно оплачиваем им московское посещение!.. Не думаю, чтобы молодые, праздные наши щеголи, точные подражатели галльских обычаев, оплачивали теперь *так верно* свои визиты в

России!..

Отборное союзное войско вступает парадом в Париж (говоря без риторической фигуры и с фигурой – как угодно!) с лаврами, сорванными в садах его; белые перевязи еще тверже скреплены на руках наших. Только русская гвардия (пешая и кавалерия), наши гренадеры и кирасиры, некоторые (два, три, не более) австрийские полки и прусская гвардия с их артиллерией пользуются честью этого знаменитого вступления. Глядя на это войско, нельзя вообразить, чтобы оно являлось со сцены жарких битв и дымных бивуаков; так чисто и щегольски оно одето, так свежи, бодры и веселы герои после столь трудных, утомительных подвигов!

Французы, ободренные нашими ласками и милостями русского монарха, выходят уже во множестве из городских ворот. С доверчивостью приближаются они к рядам, среди которых не видно ни торжественной колесницы, ни гордого вестника, ни пленников, готовящихся громом цепей возвещать о славе вступающего в город победителя, собственным уничтожением возвышать его величие и

именем раба покрывать стыдом имя братьев, жен и друзей, с плачем их встречающих. Скромность и милосердие российского государя, отклонив от них это постыдное для них зрелище, готовит им приятнейшее. Он приходит разрешить их узы рабства, а не отягчать новыми; не слава побед его занимает, достойнейшая его слава наполняет великую душу его. «Жребий войны привел меня к вам, – сказал император Александр префекту Сенского департамента и парижским мэрам, пришедшим к нему в главную квартиру его в Бонди. – Император ваш принес в сердце России тысячи бедствий, следы которых долго не изгладятся. Справедливая оборона довела меня до этих мест; но я слишком далек от мести. Хочу доказать им, что я пришел платить добром за зло. Одного Наполеона почитаю врагом моим. Я обещаю особенное покровительство городу Парижу и беру под собственное мое охранение все общественные ваши заведения: одно отборное войско будет в нем расположено. Сохраню существование вашей народной гвардии. Вам остается утвердить счастье ваше на будущее время. Вам нужно прав-

ление, которое, дав спокойствие Франции, даст его и целой Европе; вам же предоставлено пожелать его и привести в действие. Вы найдете меня всегда готовым подействовать вашему доброму рвению». Так говорил Александр французам – и народ, более побежденный его милостями, нежели силой его оружия, невольно к нему в плен сдается. О мирном расположении наших воинов к французскому народу и милостивом с ним обхождении упоминать не нужно; пример государя священнейший закон для его подданных.

Но вот велят нам подвинуться к городу и у аллеи, примыкающей к воротам, дожидаться приказа о вступлении. Надобно расстаться с карандашом.

Париж, 6 часов пополудни 19 марта

Утомленный разнообразием новых, приятных предметов, не знаю, за описание которых из них приняться? Начну с важнейшего, незабвенного для каждого из нас предмета.

Все, от предводителя войск до рядового, ожидали с каким-то сладостным нетерпением вступления в столицу Франции; всех взоры и сердца перелетали уже городские ворота и носились мысленно над местами, целью наших нетерпеливых желаний, любезнейшей мечтой нашей от самых младенческих лет, концом всеобщих бедствий и пристанью наших побед. Не робкими путниками с посохом в руках, умоляющими дать себе гостеприимство, но смелыми победителями подошли мы ко храму искусств, наук, художеств и вкуса и требуем, чтобы показали нам все их сокровища. Слава лучший проводник; ей дозволены свободный вход в палаты царей и в мастерскую художника, в воинский стан и в хижину мудрого.

Лицом стояли мы к аллее, ведущей к столице Франции, и правым крылом нашим

примыкали почти к городским воротам. Вдруг вестник прискакал к нашему строю и объявил нам повеление вступить в Париж. Тысячи взволновались, радостное жужжание разлилось по рядам храбрых, раздались командные слова, и веселая музыка загремела во всех полках. Скоро увидели мы полки союзников, церемониальным маршем пробирающиеся в город: австрийцы шли впереди, за ними следовали пруссаки; гренадеры наши тронулись с места и потянулись вслед за нами; императорская гвардия, как блистательнейшее и лучшее войско, довершала шествие. «C'est un coup de maitre», – говорили неунывающие французы: сначала приготовить сердца зрителей к удивлению, более и более выигрывать над ними власти и, наконец, изумить, поразить их!.. Мы перешагнули черту городских ворот и, вступив в Париж, насладились зрелищем, которое и поздним летам нашим готовит сладчайшие воспоминания. Представьте себе отборное войско нескольких народов, в красивом, блестящем одеянии, с развернутыми знаменами, с барабанным боем и торжественной музыкой вступающее в по-

бежденный город; представьте себе, что шестьсот тысяч граждан встречают победителей шумными восклицаниями, в которых благодарность и вместе надежда изливаются; вообразите себе огромные дома в пять-шесть этажей, снизу доверху унизанные людьми всякого сословия, развевающиеся над окнами белые платки и знамена; усыпанные цветами улицы; прибавьте к этому прекрасных женщин – иных, плачущих над букетами из лилий, других – ласкающих воинов наших милой улыбкой, старцев со слезами радости на глазах, искренние благословения детей, оглашающие непрерывно воздух клики: «Да здравствует Александр, освободитель наш! Да здравствует Вильгельм! Да здравствуют Бурбоны! Конец честолюбцу! Мир, давно желанный, благословенный мир!» – соединенное все это вместе в уме и сердце вашем, и признайтесь, что ни одно из блистательных торжеств древней и новой Истории не представляло зрелища величественнее и трогательнее. Какое единомыслие, какое согласие чувств в таком различии народов, в таком смешении языков!.. Никто в эти часы не смел

изъяснить, что он ощущал, что он говорил за несколько минут перед тем, но все понимали друг друга и все казались довольными. Пройдя бесчисленные улицы предместья и самого города (надобно заметить, что улицы первого гораздо шире), бульвары и площадь Согласия (la place de la Concorde), мы повернули в аллею, разделяющую Елисейские Поля и ведущую к выходу из Парижа. На правой стороне ее стояли император Александр с королем прусским (австрийского императора нет еще в Париже) верхом на конях с начальниками армий, генералами и адъютантами. Французы толпились по обеим сторонам аллеи, так что войска с трудом могли сквозь них проходить. Иные стояли на стульях и скамьях; другие, чтобы лучше увидеть государей, залезали на деревья; третьи, ободренные ласками офицеров союзных войск, присаживались к ним на лошадей; некоторые находились даже у ног самого императора. «Il est beau comme un Ange (Он красив, как ангел)!» – говорили парижские дамы о нашем государе. «Доброта небесная написана на лице его!» – прибавляли другие. Один молодой француз, имя кото-

рого Трементель, стоявший возле императора, прочитав снисходительность в глазах его, осмелился ему сказать: «Какой прекрасный, торжественный день для вас, государь! Но, ваше величество, дадите ли нам мир?» – «Мир, конечно, мир! – отвечал великодушный Александр. – В дружбе, в счастье французов нахожу я мое торжество». Голос русского монарха был так выразителен, настолько милостив, что молодой француз в упоении своего восторга принимался несколько раз целовать руки доброго государя.

Как приятно русскому наслаждаться подобными зрелищами – приятно видеть, что и чуждые народы умеют постигать всю великость души нашего императора!

По окончании церемониального марша войска начали расходиться по назначенным для них местам; гренадеры наши, составив ружья в козлы, отдыхают теперь на Елисейских Полях. Офицеры наши, прельщенные милотвидностью домика под вывеской «Jardin d'Isis» («Сад Изиды»), стоявшего в густой аллее Антен на берегу Сены, потянулись шумным роем в жилище египетской богини. Наруж-

ность домика нас не обманула; мы нашли во внутренности ограды его много прекрасного: во-первых, услужливых хозяина и хозяйку, двух милых дочерей с робким взором, с движениями ловкими и вместе скромными, принимающих нежданных гостей; во-вторых, нашли мы, на самом маленьком куске земли, прекрасный садик, пересеченный извивистыми, желтым песком усыпанными дорожками, которые ведут вас то к темным боскетам, приготовленным, кажется, для отдыха самого Амура, то к красивым качелям, легкой сетью одетым, то ко множеству других незатейливых игр; в-третьих – к вам, застольные эпикурейцы московские! к вам посылаю вздох сожаления, что вы не можете присутствовать теперь в кругу нашем, – в-третьих, в один из тенистых боскетов подали нам вкусные котлеты en papillote (в завитках), чудесно изжаренную пуларду под трюфелями, салат, благоухающий оливами Прованса, и бутылку старого бургонского!

Разговаривая с француженками, спросили мы их: что они думают о северных варварах? «Узнав вашего императора, – отвечала одна

из них (самая любезнейшая), – узнав вас, государи мои, надобно признаться, что нас заставляли ужасно ошибаться насчет вас. Мы раскрываем теперь глаза и видим ясно, что Север может дать Югу уроки милости, скромности и любезности». Ответ лестный для русских, тем более лестный, что он сказан при первом знакомстве нашем с парижанами!..

Что такое Елисейские Поля? – спросите вы. – Конечно, места райские, очаровательные лесочки, шумные ручейки, бегущие друг к другу и друг от друга убегающие по воле упрямых берегов своих, бархатные лужки, тысячами цветов испещренные, храмы, посвященные любви и неге, алтари, памятники, гроты?

Совсем нет! Поля эти не что иное, как зеленый четырехугольный луг, хорошо расчищенный, хорошо сбереженный, огражденный небольшим правильным леском; на этом лугу стоит очень маленький домик или, лучше сказать, порядочно раскрашенная караульня; сверх того, в аллее Антень, принадлежавшей Елизею, есть три-четыре трактира, довольно красивые – и более ничего! Но *Поля Елисей-*

ские составляют одно из первейших украшений города! Это правда, а именно потому, что находятся в самой шумной и веселой части Парижа, рядом с прекрасной площадью Согласия, близ Сены и мостов ее, в виду дворца Тюльерийского;[33] он считается приятнейшим убежищем народа в праздники, в которые собирается он толпами на зеленый луг играть в воланы, в коньки, шары и прочие любимые игры. Надобно еще прибавить, что каждый лесок, каждый садик может среди Парижа считаться драгоценностью – среди такого города, где все застроено, где каждый аршин земли ценится золотом.

Прекрасен вид с площади Согласия, а особенно с моста того же имени! Стоя на нем, видишь следующие один за другим мосты *Тюльерийский*, *Новый (Ponte Neuf)*, *Разменный*, которые можно считать первейшим, самым щеголеватым украшением города, вправо от них возносятся, как будто на острове, готические башни соборной церкви *Notre Dame* и рядом с ней купол дворца Юстиции (*le Palais de la Justice*); еще правее тянутся, вдоль берега Сены, прекрасные набережные *Вольтера* и *Буо-*

напарта; влево представляется вам великолепная луврская колоннада и там же, ближе, Тюльерийский дворец с павильонами своими, с садом и красивой его оградой. Оборачиваюсь и вижу дворец Законодательного Корпуса (le Palais du Corps legislatif), и Дом инвалидов с золотым куполом своим, и Елисейские Поля с площадью Согласия и богатыми ее зданиями не менее восхищают мое зрение. Место это очень живописно; но чтобы насладиться вполне красотами Парижа и окрестностей его, надо взойти наверх павильона Флоры в Тюльерийском дворце – так сказали мне городские жители, и я постараюсь советом их когда-нибудь воспользоваться.

Французский народ смотрит еще на нас, как на людей, пришедших из другого, совершенно неизвестного мира. Наши тесные мундиры, наши шляпы и султаны, обыкновение наше крепко подтягиваться шарфом, порядок и однообразие одежды нашей – все это приводит в удивление тех, кто привык видеть своих воинов в широких, свободных, как халат, мундирах, с высочайшей шляпой *à la Суворов* (как они называли в Итальянскую кампа-

нию), отягченную высочайшим султаном, в нижних платьях различного покроя, в сапогах разных форм и даже в башмаках! Но удивляет их более всего то, что некоторые из наших офицеров изъясняются прекрасно по-французски и говорят на нем так легко, как парижане. Лишь только французское словцо сорвется с языка кого-нибудь из нас, тотчас окружает его толпа любопытных и беспрестанно задают ему тысячи вопросов, в числе которых есть очень неразумные и показывающие большой недостаток в сведениях. Во время прилива и отлива толпы, окружившей меня со многими офицерами нашего корпуса на площади Согласия, подошла ко мне одна дама средних лет, довольно дородная и хорошо одетая. Вступлением ее со мной в разговор было то, что она жила несколько лет в Москве, имела свое пребывание на Кузнецком мосту, была вхожа в лучшие дома древней столицы и часто необходима была для семейств наших князей и графов, фамилии которых она мне объявила. Когда я исполнил перед ней долг учтивого чужеземца, особенно московитянина, и когда она от меня удали-

лась, я спросил стоявшего возле меня француза, кто была эта дама. «Прачка, живущая на улице Сент-Оноре!» – отвечал он мне с какой-то подозрительной улыбкой. Здесь такие дамы-прачки, а у нас играют они роль знатных выходцев и, что горестнее всего, берутся воспитывать детей наших. Думаю, что русские, побывав во Франции, откроют глаза родственникам и знакомым своим насчет таких дам и подобных им господ, которые у нас бог знает в какой чести и в каком уважении!..

Первый день пребывания нашего в Париже показал нам довольно разительный образчик ветрености французского народа. Мы стояли уже с час на площади Согласия и удовлетворяли любопытство парижан, как вдруг увидели толпу, бегущую на площадь Вандомскую. Увлеченные стремлением бегущих и желанием узнать, что было причиной народного волнения, мы туда же подошли. Что же нашли мы? Несколько смельчаков взлезли на вершину колонны великой армии (*le colonne de la Grande armée*) и, надев петлю на шею огромной статуе Боунапарта, бросили концы веревки народу, который с шумными, радост-

ными восклицаниями готовился уже тащить ее, но караул, присланный вскоре от государя императора, просил очень учтиво французов позволить занять пост свой около столпа... «До другого времени!» – закричал народ, и в большом беспорядке разошлись. Надобно заметить, что на этой же площади, на том самом месте, где сооружена колонна с изображением Наполеона, стояло некогда бронзовое изваяние Лудовика XIV, отлитое Келлертом по рисунку известного Жирарда!.. Колонна великой армии есть богатый, величественный и смелый памятник честолюбия Буонапарта – памятник, который собственной красотой своей мог бы исполнить желание его: предать бессмертию военные его подвиги и деяния служивших под его знаменами воинов. На столпе изображены главные его победы, торжественные въезды и триумфы. Высота колонны 138 футов, поперечник ее 12; высота статуи 12 футов. Площадь Вандомская четырехсторонняя с отсеченными углами; пилястры и портики домов коринфского ордена.

Там же, 20 марта поутру

Казаки расположили свой стан на Елисейских Полях: зрелище, достойное карандаша Орловского и внимания наблюдателя земных превратностей! Там, где парижский щеголь подавал своей красавице пучок новорожденных цветов и трепетал от восхищения, читая ответ в ласковых ее взорах, стоит у дымного костра башкирец в огромной засаженной шапке с длинными ушами и на конце стрелы жарит свой бифштекс. Гирлянды и флеровые покрывала сменены седлами и косматыми бурками. Не куплетам стихотворцев, воспитанных самими Грациями, наставленных самим Эротом, здешние рожицы внимают: они слушают песни донских трубадуров, на хребте диких коней взлелеянных, на концах копий вскормленных и простой природой наученных. Воин, мечтавший о первенстве мира перед всеми другими, провозгласивший себя победителем Вселенной, со страхом обходит лес копий, перенесенный в столицу мира из степей азиатских. Жандармы и наемная полиция деспота, носившие угрозу и

ужас между своими согражданами, уступили права свои воинам, прилетевшим с берегов Дона, Волги и Амура и разъезжающим ныне около Елисейских Полей для охраны жителей, своих неприятелей. К этим чертам превратности земной надобно прибавить вид начатых, при входе в Елисейские поля и при выходе из Парижа, прекрасных торжественных ворот (Arc de Triomphe), начатых – и очень кстати недоконченных, как будто для того, чтобы ознаменовать собой Наполеоново величие. Любуясь этим зрелищем, читаю в нем новое разительное удостоверение, что высокомерию нашему, забывшему пределы человечества, всегда Свыше напоминаются они уроком жестоким – и полезным, когда зрители его хотят им воспользоваться.

Вчера к вечеру гренадеры перенесли бивуаки свои с Елисейских Полей к Булонскому лесу. «Булонский лес? Боже мой! Расскажите нам что-нибудь об этом парке, знаменитом поединками и самоубийствами!» – кричат мне пламенные рыцари из угла мирной спальни своей, из-под розового одеяла.

Погода очень дурна, господа! И для того я

не имел еще охоты заглянуть в этот дедал, куда сумасбродные поклонники зеленого стола, часто бутылки и реже всего пламенника Амурова ходят искать конца жизни, проведенной без пользы себе и ближнему. Но если вы любите внимать грому – не на поле брани, не на поприще истинной чести и следственно истинной славы, – если вы любите внимать стук мечей, пистолетным выстрелам, стону умирающих и видеть трупы, в крови плавающие, то разверните новейшие романы, которые так скоро расходятся у наших книготорговцев. Можете также удовлетворить своему желанию, заглянув в парижские листки, наполненные ужасными битвами, а иногда одними страшными вызовами, которых слава отдается несколько дней в тамошних кофейных домах. К утешению же вашему скажу, что Булонский лес имеет несколько просек, довольно искусно расположенных, что он содержится в большой чистоте и простирается от севера к югу на 2400 туаз (1 французское лье), а от востока к западу на 1110 туаз. Какое обширное поприще для рыцарских подвигов! Сверх того, бывают здесь несколько раз в году

самые блистательные гулянья. За месяц или прежде до рокового дня парижские красавицы утраивают ласки к старым поклонникам своим, жена чаще принимает мужа в свое отделение, и молодой повеса, почти каждый день до утренней звезды, возвращается под кров родительский: все это для того, чтобы в день гулянья собрать венки похвалы с толпы народной и оспорить торжество у соперников – экипажами и лошадьми. Судя по рассказам, можно сравнить эти гулянья с тем, какое Марьино роца представляет 1 мая. Говорят, что многие герои праздника в Булонском лесу меняют на другой день роль свою; из гордых требователей превращаются в униженных просителей и торжественные колесницы свои отдают за бесценок неумолимым кредиторам. Не знаю, дошли ли у нас богатые тщеславием и бедные расчетливостью до такой степени безрассудства.

Мы собрались обществом в Париж и для доставления нас туда наняли огромный фиакр в две лошади, превысокие и тощие. Вообразите себе экипаж актеров, едущих на репетицию, и можете иметь самое верное понятие

о нашем рыдване с упряжью. Глядя на него, любуясь его почтенной древностью, освященной ржавым клеймом полвека, я думаю о том, сколь любопытна была бы его история. Искусное перо, начертав ее, подарило бы нам историю самого Парижа от последнего несчастного короля французского до взятия столицы. В этом фиакре мы увидели бы, может быть, и палача, обрызганного кровью государя своего, и гордого члена адского Робеспьера судилища, и робкого кавалера Святого Лудовика, изгоняемого ужасами гильотины из своего отечества. В нем представился бы нам: во-первых, мамалюк первого консула, прибывший с ним из неудачной экспедиции в Египет; потом возглашатель побед императора от Тага до Оки, взятия Вены, Берлина, Мадрида, Москвы; после того – шпион кровожадного самовластителя, присланный с несчастной переправы через Березину наблюдать, в продолжение новой жатвы людей, за каждым словом, за каждым движением и взором парижских жителей. Наконец, в этом фиакре мы увидели бы себя, то есть шесть русских офицеров, едущих осматривать редкости и

красоты Парижа на другой день торжественного в него входа.

Там же, 21 марта в 12 часов ночи

Только два дня здешняя Талия молчала: день, в который громами решалась судьба столицы Франции, и тот, в который Париж принимал в свои стены победителей. По сему образчику можно судить о любви французов к зрелищам и о легкости их характера. Мне кажется, что тайна самого правления этим ветреным народом состоит в спектаклях. Опыты XVIII столетия и начало XIX удостоверяют нас в этом заключении. Не ошибался хитрый самовластитель Франции, умев всю славу и величие народные представить в зрелищах – разумея не на одних театрах, но и в блестящих празднествах, в памятниках! Слепив, оглушив французов блеском и громом их имени и деяний, он делал из них что хотел. Но – обратимся к театру.

Нынешний вечер назначено было в Большой Опере (le Grand Opéra) «Торжество Траяна» – пьеса, в которой соединено все, что искусства и пышность могут представить изящ-

нейшего в декорациях, костюмах, танцах и музыке; пьеса, нарочно сочиненная для насыщения честолюбивой души Наполеона в счастливые времена побед его. Прельщенные рассказами о блеске и красоте этой оперы, а более слухами, что российский император и прусский король удостоят ее представление своим присутствием, я поспешил с военными товарищами в театр в 4 часа. Многолюдство и теснота при входе в него были столь велики, что мы насилу могли продраться до билетов. Ложи все уже были заняты; с трудом нашли мы себе места в партере, и те на задних лавочках. Сначала досадовали мы на участь свою, но после нашли ее завидной, увидев, что позади нас сидели иностранные и наши государственные чиновники, министры и генералы (между которыми находился и князь Трубецкой, один из любимых наших корпусных начальников). Признаюсь, что огромная величина театрального зала, правильность и красота его архитектуры, богатство и вкус его украшений, особенно пышность Наполеоновой ложи, меня изумили; но более поразило меня необыкновенное зрелище нескольких

тысяч посетителей, собравшихся здесь со всех концов Европы. Говоря на разных языках, отличаясь друг от друга одеждой, нравами, обычаями, не согласные доселе один с другим в мнениях и чувствах, посетители эти принесли сюда одну мысль, одно чувство: желание мира и свободы. Мне казалось, что представители многочисленных народов полушара нашего пришли праздновать здесь эту свободу и благоденствие рода человеческого. Всеобщий восторг, произведенный согласными желаниями, не мог долго таиться в сердцах зрителей. Скоро с изъяснениями признательности французов к великодушному монарху российскому и венценосному его другу присоединился голос народной любви к законному государю. Раздались по всему залу громкие восклицания: имена Александра и Фредерика слились с именами Лудовика XVIII и Бурбонов. Сорвана с Наполеоновой ложи ненавистная вывеска деспотизма, и место плотоядного орла заняли скромные лилии Святого Лудовика и доброго Генриха IV. В партере брошены были кокарды белые; их схватили с восторгом и украсились ими при гром-

ких рукоплесканиях. Но вдруг глубокое молчание воцарилось в зале: поднялся занавес, актер вышел на сцену и объявил зрителям, что, по болезни одного из собратьев его, «Торжество Траяна» отменяется, а вместо него назначаются «Весталки». Надобно было видеть и слышать в эти минуты, как всеобщий восторг превратился в единодушное негодование. Вест о несчастной перемене в правлении не могла бы произвести в народе большего волнения. Дунет ласковый зефир – и пышная роза чуть качается на стебле своем, и человек спокойно катится по зеркалу вод; дунет свирепый Борей – и столетние дубы ложатся вверх корнями, и корабли крушатся на трехволненном море: таков характер французов. «Обман! – закричал единоголосно целый театр. – «Траяна»! «Траяна»! Или больного актера на сцену!» Напрасно употреблял актер все красноречие, чтобы уверить публику в истинности слов своих: публика была неумолима, требовала «Траяна» и грозила сцене бурей. Театральный вестник просил по крайней мере позволения отнестись об этом случае к императору Александру. «Хорошо! Пусть будет как

ему угодно!» – отвечали зрители. В скором времени актер явился опять на сцену с объявлением от российского монарха, что его величество не желает предписывать законы публике и предоставляет решение этого случая ее снисхождению. «Траяна! Траяна!» – повторили тогда с большим жаром тысячи голосов и до тех пор не умолкали, пока не показался вновь актер на сцене с извещением, что российский император, уважая причины, побудившие к перемене пьесы, просит публику позволить играть «Весталок». «Да будет воля Александра исполнена! «Весталок»! «Весталок»!» – раздалось по всему залу – и в пользу «Траяна» не было уже ни одного голоса. Наступила глубокая тишина, как скоро пробежала по театру весть, что государи туда немедленно придут. Все зрители в немом ожидании обратились взорами к ложе, приготовленной для их величеств над амфитеатром.

Напрасно старался бы я описать минуту появления государей в театре: есть зрелища, которых ни язык человеческий, ни кисть выразить не в состоянии; есть случаи, производящие в нас такие чувства, в которых не мо-

жешь отдать ясного отчета. Опишу только некоторые черты этой картины.

Лишь только государи вступили в свою ложу, встречены они были громкими восклицаниями и рукоплесканиями, от которых, казалось, стонал и колебался театр. «Да здравствует Александр, наш покровитель, наш миротворец! Да здравствует Вильгельм! Да здравствует Лудовик XVIII! Мир и Бурбонов!» – раздавалось непрерывно во всем зале. Мужчины поднимали вверх шляпы с белыми кокардами; женщины и дети махали белыми платками, бросали в партер лилии. Монархи различными приветливыми движениями изъясняли несколько раз свою признательность публике. Наконец крики начали перемежаться; все зрители были тронуты до чрезвычайности; мужчины и женщины закрывали глаза платками, иные рыдали. Я видел, слышал, как вокруг и позади меня плакали; я видел, как воины, поседевшие на поле брани, не могли от слез удержаться, – и плакал сам, как ребенок. Повторяю: такое зрелище выше всех слов и описаний. Начали играть пьесу, и десять раз шумные клики и рукоплескания зри-

телей прерывали ее, так что актеры безмолвно стояли по нескольку минут, ожидая времени, когда можно им будет ее продолжать. Кажалось, что сцена была местом зрителей и что само действие происходило между нами. Публика ловила в пьесе малейшее сходство с обстоятельствами времени и все, что могла обратить в приветствие скромным победителям. Потребовали известный народный голос: «Vive Henri IV!» Этот голос имеет в себе особенную прелесть для всякого, кто любит и чтит память добрых царей, для всякого, кто умеет чувствовать; но для души француза это Пифиев треножник. Трогательная, прекрасная музыка, воспоминания об Отце народа, о славной и несчастной его династии произвели новое волнение в зрителях. Несколько раз требовали сей голос, и всякий раз был он принят с новым восторгом. Зрители рукоплескали и плакали. Один из актеров, пропев известный куплет в честь Генриха IV («Французы на все скоры»), прибавил к нему экспромтом два следующие:

Vive Guillaume.

Et ses vaillants guerriers!

*De notre royaume
Ils sont les boueliers[34]*

** * **

*Vive Alexandre,
Li modèle des Rois!
Sans rien préteudre,
Sans nous donner des leix,
Ce prince auguste
A le triple renom:
De Heros, de Juste,
De nous rendre Bourbon. B!)*

Можно судить, какое действие произвели эти куплеты над зрителями, особенно над русскими и пруссаками. В продолжение пьесы они были несколько раз повторяемы и всякий раз сопровождаемы громкими рукоплесканиями.

При выходе из театра один из важнейших чиновников государственных во Франции (Талейран-Перигор) спросил у российского императора, остался ли он доволен французами. «Не сыщу слов, – отвечал государь, – чтобы выразить вам приятные для меня впечатления нынешнего вечера. Если бы я мог иметь когда мысль дать почувствовать Парижу бремя войны, то прием, сделанный мне

жителями его, изгнал бы ее из моего сердца».

Страсбург, 12 июня

Маршрут наш на Страсбург. Почти все французские крепости среди грома войны видели союзные войска на стенах и в стенах своих.

Ныне великие монархи, уважая права и самолюбие народные, милостивой рукой отклонили от них стыд узреть победителей, возвращающихся на свою родину с торжеством мира и трофеями славы. Верст двадцать от Страсбурга, между этим городом и Гагенау, расположен наш Московский гренадерский полк. Поля здесь хорошо обработаны и плодородны; деревни обширны и многолюдны; лица поселянок цветут здоровьем и руки земледельцев сильны. Чем ближе к Рейну, тем более люди и природа улыбаются.

Из окон моего жилища я мог рассматривать шпиль Страсбургской колокольни; мог даже примечать город, проглядывающий сквозь сизую пелену отдаленности. «Ныне дневка, – вздыхая, сказал я моему генералу. – Почему не осмотреть вам последний хоро-

ший город Франции и заставу его?» – «Поедем в него!» – отвечал он с обыкновенной снисходительностью. И мы через веселые, обширные равнины прискакали в Страсбург.

Внутренность города не соответствует тому, что обещала нам его наружность. Дома в нем высоки, но некрасивы: улицы тесны и мрачны; много считают в нем людей, но совсем нет таких, которые заслуживали бы внимание образованного путешественника.

Увидев отрывки здешнего гарнизона, я думал, что попал в вертеп разбойников. Страсбургские солдаты и даже хорошо воспитанные предводители их останавливают на улицах офицеров союзных войск (приезжающих сюда из любопытства и в надежде быть безопасными среди просвещенного народа), осыпают их низкими бранями и глупыми насмешками, которые делали бы стыд и самым населенцам диких степей. Рассказывали мне, что в одном из здешних трактиров несколько французских офицеров, окружив нашего храброго полковника Н., спрашивали его, за какие дела получил он знаки отличия, во множестве украшавшие грудь его, и когда он

отвечал им, что приобрел некоторые за битвы под Бриенном, Арси и Парижем, они покушались сорвать с него кресты и, верно, dokonчили бы свое гнусное намерение, если бы обиженный не сохранил всего благородного и благоразумного своего хладнокровия. Французам стыдно видеть на головах победителей лавры, пожатые на полях их отечества. Для чего же не мешали они славной жатве сей? Для чего же ныне толпе бродяг, окутанных в одежду воинов, силиться срывать венки, которыми вселенная почтила героев?.. Напрасно стараются господа страсбургцы, в бессильном и ни для кого не вредном гневе своем, сбросить на нас стыд свой – это басня издыхающей змеи, которая шипит и изливает еще яд свой на победоносного царя пернатых, под солнцем парящего.

Что заманило нас в Страсбург из мирного нашего жилища? Колокольня соборной церкви. Для нее приехали мы и первую ее пошли осматривать. Она почитается высочайшей башней в Европе; вышина же ее 93 сажени. Нельзя не принести дани удивления тонкому искусству, с которым, на готический вкус, об-

делан прозрачный шпиц ее; невозможно отказать от любопытства взойти на ее вершину по извивающейся змеей лестнице. На вершине забыл я усталость – так приятно было на ней находиться! Какая смелая высота! Какие прелестные виды! Деревни и роци вокруг Страсбурга чернеются, как точки; ряды гор, волнующиеся сизой нитью, теряются в отдалении. Далее зрение отказывает служить мне; будь оно совершеннее, и я увидел бы седые челы Альпийских гор. Глядя на город, воображаешь, что держишь его на ладони своей; взглянув на народ, думаешь видеть семью муравьев, взад и вперед ползущих и перебирающихся в норы свои. Невозможно долго глядеть вниз: голова начинает кружиться, и сердце замирает от ужаса при одной мысли – слететь с колокольни. Здесьние часы почитались одним из великим произведений механики. Художник поручил двенадцати апостолам означать части дня и ночи, послушные его искусству, они приходили попеременно извещать городских жителей о каждом новом часе. Я хотел полюбоваться этим чудом механики; но мне объявили, что они испорчены.

Большому колоколу здешнему дивиться могут путешественники, не видевшие московского. Можно сравнить первого с человеком большого роста, последнего с великаном. Там же показывают большой охотничий рог, которым за четыре века назад здешние жида хотели известить неприятеля о времени, удобном для занятия города.

Что сказать о внутренности самой соборной церкви? Видел я в ней много богатства и – ничего, кроме богатства!

Где торжество искусства? Где бессмертное произведение Пигалья? Где слава резца его и слава Франции? – спросил я – и меня повели в церковь Святого Фомы. В ней увидел я все, что искусство Фидиасов с Поэзией вместе произвести могут изящнейшего. Если камень может быть одушевлен творческой силой гения, то признаюсь, что мрамор маршала графа Саксонского полон жизни. Пигаль есть Виргилий в своем роде. Вот описание этого памятника.

Герой, увенчанный лаврами, с повелительным жезлом в руке, бестрепетной ногой сходит по ступеням в раскрытую для него моги-

лу. Привыкший в боях взирать на смерть с хладнокровием, смотрит на нее ныне с презрением. Победитель умирает победителем. Вправо от него лежат повержены, в ужасе и смятении, три символических зверя, представляющих соединенные армии, побежденные им во Фландрии; знамена сих войск разметаны тут же в беспорядке. На левой стороне Гений войны, вперив слезящие очи и, как жется, душу свою в Героя, обращает к земле свой факел. Гений осенен победоносными французскими знаменами. Ниже, на ступенях, женщина, прекрасная, привлекательная, но печальная, силится одной рукой удержать маршала, другой отталкивает смерть. По благородной осанке ее, по знакам живой горести как не угадать, что это Франции. Смерть, в виде остова, в густой саван окутанный, извещает Героя, что решительная минута жизни его истекла с последней каплей, упadaющей на дно водяных часов, которые она держит в руке своей. Жестокая призывает себе славную жертву свою и убеждает ее ступить в гроб, для нее нарочно раскрытый. С другой стороны представлен в глубокой и важной горести

Геркулес, который делает самую выгодную противоположность с Францией. Печаль Геркулеса есть печаль мужа, сохраняющего твердость духа, ему свойственную; Франция огорчена, как чувствительная, нежная женщина, которая лишилась милого предмета, составлявшего всю славу и утешение ее. Над всеми этими фигурами возносится пирамида из дикого мрамора. Внизу гробницы изображен герб графа, пересеченный двумя маршальскими жезлами и украшенный цепью польского ордена Белого Орла. На главной фесе пирамиды следующая латинская надпись:

MAURICIO SAXONI

*Curlandiæ et Semigalliae Duci summo
regiorum exercitum praefecto sempur
victori*

LUDOVICUS XV

victoriarum auctor et ipse Dux poni jussit.

OBIIIT XXX. NOV. ANNO MDCCL. AETATIS

LV

То есть:

Маврикию (графу) Саксонскому, герцогу Курляндскому и Семигальскому, непобежденному Генералиссимусу королевских войск Лудовику XV виновник

его побед и сам вождь воздвигнул сей памятник. Он скончался (в замке Шембор) 30 ноября 1750 на 55-м году от рождения.

Известный профессор Шепфелен сочинил было другую латинскую надпись, которая по красоте слога и содержанию в себе жизни маршала, знаменитого писателя и полководца, заслуживала бы скорее занять место на памятнике.

Вот что говорит француз об этом памятнике: «Не надгробный монумент, но трофеи нашей славы видим мы в сем богатом произведении искусства. Франция не перестала еще проливать слезы на прах победителя при Фонтенуа, Року, Лавфелд и пр.; а герой, стряхнув с себя сон смерти, воскресает уже среди торжеств своих: он живет и присутствует между нами. Чудом этим обязаны мы резцу нового Праксителя, покорившего мрамор законам своего гения».

Здесь университет гремел некогда успехами своими и привлекал в свои стены толпу иностранцев; но с того времени, как учителя и ученики, надев трехцветную ко-

карду и синие мундиры, вздумали воевать и сделать путешествие к снегам Севера, солнце просвещения уже слабо проглядывает на учебное сие заведение, и мудрость мудрецов здешних приметно мрачится.

Потсдам, 16 июля

Нынешний марш показался нам веселой прогулкой: так прелестна дорога, ведущая к Потсдаму! Природа покинула скучную однообразность, неразлучную с ней от самого Дессау, и, как будто желая вознаградить свою временную скупость, рассыпала вдруг щедроты свои на здешнюю окрестность. Не величественной, не ужасной она здесь является, но милостивой и тем более прелестной, что она выказывается на каждом шагу непостоянной. Чем ближе к Потсдаму, тем виды очаровательнее. Деревни с садами своими рассыпаны там и сям, как цепи красивых мыз; пригорки увенчаны множеством ветряных мельниц и храмами Божьими; мрачные боры меняются веселыми лесочками; по холмам и долинам жатвы расстилаются золотыми, волнистыми коврами; опушенные зелеными берегами ру-

чейки бегут в разные стороны, мелькают, исчезают; удержанные плотинами, снова появляются наподобие озер, низвергаясь шумными водопадами, движут мельницы и пробуждают окрестность.

Дорога наша тем приятнее, что мы везде приняты, как гости, сердцу милые. При входе в каждый городок, даже в некоторые деревни, поделаны торжественные ворота, украшенные цветочными вязами, деревьями, надписями и другими украшениями. В домах новые нечаянные приветствия! В числе надписей нам очень понравилось лаконическое «Ура!» на воротах Белица. Ничем лучшим нельзя было нас встретить, ничего красноречивее сказать невозможно было. Потсдам приветствовал нас надписью: «Willkommen, liebe Brüder!» (Милости просим, любезные братья!) – нас, говорю я, ибо в этом приглашении можем равно участвовать с прусскими воинами. Дружба русских с пруссаками, не измененная в продолжение целой кампании (от самых берегов Немена), приучила нас ни в каком случае не отделяться друг от друга. Участь одних всегда почитаема была общей. Рожденная

благодарностью, поддержанная благородным духом обоих народов, дружба эта равно свято сохранялась в соломенных шалашах бивуаков, в сечах кровавых, на пиру, у смерти и в победах над врагом общей свободы. Она не охлаждалась неудачами, не усиливалась успехами и в торжествах не была забыта. Можно сказать, что пруссаки с русскими везде составляли одно войско. Никогда имя союзников не было даваемо приличнее и справедливее; и если подвигам мужества и твердости народного характера не посмеют грядущие времена отказать в удивлении, то, без сомнения, принесут они достойную дань уважения примерной дружбе двух народов и дружбе их царей, столько же примерной.

Нас предупредили, что Блюхер находится в Потсдаме – Блюхер, герой Кацбаха и Бриенна, всегда пылкий и отважный; никогда не показывавший тыла неприятелю, не терпящий впереди себя ни чужих, ни своих; у огня бивуаков простой солдат, довольный сухарем хлеба с водой, – в мирном кругу друзей своих роскошный Лукулл, охотник до игр и пиров; ужас для французов, любовь и слава Пруссии;

любовь самих русских солдат, привыкших служить под его начальством и почитать его за своего земляка. «Брюхов славный генерал, – говорят наши солдаты, – любит идти вперед и не балует неприятеля ретирадами. Таков был и батюшка Суворов!» Гвардейская артиллерия, идущая с нами, и Московский гренадерский полк, несколько обчистившись за городом, вошли в него парадом и прошли церемониальным маршем мимо жилища прусского героя. Начальник отряда генерал Полуектов был к нему приглашен. По должности моей я за ним последовал. Блюхер встретил генерала несколькими лестными словами насчет наружности воинов наших. Георгиевская лента, накинутая на жилет, звезда ее и железный крест первой степени были единственные знаки отличия, его украшавшие... Прочая же одежда его была самая скромная одежда гусара. На слова он не расточителен.

По широким и правильным улицам (из которых славится так называемая Римская), по высоким и красивым домам, по величественной площади, украшенной великолепным

дворцом, можно назвать Потсдам прекрасным городом: но, увидев, что по этим улицам ходят одни солдаты; узнав, что в этих домах помещается гарнизон и что по площади гуляют только воинские отряды, осмелюсь назвать его прекрасными казармами. Сравнивая нынешнее состояние Потсдама с описанием его, сделанным русским путешественником в 1789 году, считаешь Карамзина своим спутником. Кажется, что я гляжу на здешние предметы его глазами. Встретив человека незнакомого, которого портрет, чрезвычайно с ним сходный, у меня долго хранился, говорю в изумлении: «Боже мой! Да я его знаю!» Таким же образом рассматриваю и здешний город. Вот заключение, какое делает о нем русский путешественник: «Потсдам похож на такой город, из которого жители удалились, услышав о приближении неприятеля, и в котором остался только гарнизон для его защиты». Небольшую перемену сделал бы я ныне в этом заключении и сказал бы: пустота и уныние Потсдама тем более приметны, что настоящие его жители – солдаты, вышедшие из него для защиты родных пределов, не все еще

прибыли в него.

В ожидании поездки в Сансуси я пошел рассеять скуку свою на парадное место. Зайдя там в конфетную лавку, не раскаиваюсь. Содержатель ее итальянец был придворным кондитером у Фредерика II; знает о нем множество анекдотов и, несмотря на зиму дней своих, говорит о нем с пылкостью юноши.

Там же

С каким благоговением смотрим на памятник, хранящий в себе прах великого человека! Сколь красноречив для сердца нашего сам надгробный камень его! Но места, к которым он имел особенную привязанность; где он являлся со всеми слабостями и добродетелями своими; где каждый предмет носит отпечаток его вкуса, ума и характера; которому он, так сказать, завещал, как любимцу своему, как вернейшему другу, лучшие свои сокровища, свои тайны, славу и памятники домашней жизни: это любимое жилище великого человека еще привлекательнее, еще красноречивее для потомства. Эрменонвиль, Ферней, Званка будут иметь особенную пре-

лесть до тех пор, пока жить будут имена Руссо, Вольтера, Державина. Сансуси равно бесмертен, равно для нас любезен: в нем любил отдыхать от грома побед и забот политики венчаный герой-поэт и философ; в нем любил он беседовать с мудрецами живыми и мертвыми, с изящной природой и искусствами. Привязанность его к этому убежищу была самая нежная и постоянная: она не охлаждалась среди торжеств и неудач его. «Тоскую по моем Сансуси, как израильтяне по обетованной земле», – писал Фредерик II среди трофеев своих к маркизу д'Аржану. «Когда-то увижу любезное мое уединение? Мысленно брожу с вами по всем углам дома, по всем садовым дорожкам», – повторял он к нему же, удрученный заботами тяжелой борьбы с тремя могучими неприятелями. Признаюсь: я горел нетерпением увидеть жилище, столько любезное великому Фредерику, и не дал генералу моему покоя до тех пор, пока не отправились мы в Сансуси. Дорогой присоединились к нам артиллерийский полковник Нилус, эпикуреец в любви ко всему изящному, в каких бы родах оно ни представлялось ему, и

любезный капитан Глухов, страстный поклонник великих людей. Прекрасные виды, приятная беседа сократили путь наш, и без того не длинный. При въезде в главную аллею, ведущую к нагорному дворцу, сердце мое забилося сильнее, как будто от ожидания встретить самого Фредерика II. Глазам не нравится в аллее угол, дающий ей вид неправильный, и вкус невольно ропщет на эту погрешность в прекрасном целом. Но сердце радуется, видя здесь черту великой души государя-человека. Угол этот сохранен единственно из угождения бедной женщине, не хотевшей за большие деньги уступить королю клочок земли, издавна принадлежавший отцам ее. Примеры такого снисхождения в пылком Фредерике II, хотя они были в нем не редки, заслуживают, конечно, дани сердечного уважения потомства. У самого подъезда к дворцу представляется вам подобный же памятник великодушия его. Помните ли в его истории мельника, который, несмотря на все просьбы и щедрые предложения короля, на все угрозы его, не согласился продать свою мельницу и когда разгневанный его упорством государь

приказал сказать ему, что он отнимет ее силой, отвечал: «Не боюсь этого: нас разберут в Берлине в суде!» Ответ, делающий столько же чести государю, как и подданному его, показывающий в первом строгого блюстителя законов, а в другом твердого гражданина, повивающегося не страху казни, но правосудию законов сих. Мельница поныне стоит на том же месте (она, кажется, обновлена в правление нынешнего короля). В самом близком соседстве с дворцом, махая и шумя крыльями почти над кровлей его, она не нарушает своим шумом сладкого сна добрых царей.

Терраса, вышедшая на площадку, достойна также замечания. На нее часто выносили короля в последнюю болезнь его; здесь любил он смотреть на прекрасную природу и помышлять о вечности. Незадолго до его смерти сидел он здесь: день был прекрасный, солнце во всем великолепии своем шествовало по лазоревому небу. Долго любовался им король, провожая его ясными взорами; душа его, казалось, отделилась от земного и витала уже в странах небесных. Наконец, как будто возвратившись на землю, как будто придя в себя,

вздохнув, сказал он: «Скоро, скоро переселюсь к тебе навеки!» Мне кажется, что я и теперь вижу на террасе больного Фредерика.

Принцессы прусские (дочери нынешнего короля) были во дворце, и мы в присутствии их не смели осматривать его. Они скоро выехали из Сансуси обратно в Берлин, оставив нам полную свободу быть везде и все видеть. Мы пробежали ряд комнат, дивясь мраморам, колоннадам, прекрасным картинам и гобеленовым обоям, спорящим не только с красками художника, но и самой природы. Кабинет короля занял нас более, не потому, что он убран весь кедровым деревом, что в нем искусство и великолепие являются под наружностью простоты; но потому, что в нем гений великого беседовал с философами всех времен и народов, что в нем писал он бессмертные послания свои к Вольтерам, Даламбертам, Фонтенелям, ко всем остроумцам и глубокомысленным писателям своего века, ими столько богатого. Отсюда изливалось благотворение, согревавшее его любимцев. Но комната, где умер герой-философ, еще более возбуждала наше внимание. Все предметы в ней

точно в таком положении, как были при смерти его. Письменный столик, накрытый сукном, чернилами закапанным; чернильница и перо, к которому прикасался король хладующими перстами, длинные кресла, на которых он сиживал во время болезни своей и с коих диктовал он, за день до своей смерти, наставления своему министру: все было нами пересмотрено с особенным благоговением. На столе стоят часы с надписью известного изречения Тита: «diem perdidit» («Я потерял день»). Достоин замечания, что они остановились в тот самый час, как скончался король. Стрелка и теперь неподвижна на роковом числе. Здесь вспомнил я стихи, написанные королем к Вольтеру в самую мрачную его годину:

*Voltaire dans son hermitage,
Dans un pays, dont l'héritage
Est son antique bonne foi,
Peut s'adonner en paix a la vertu du
sage,
Dont Platon nous marque la loi.
Pour moi menacé du naufrage,
Je dois en affrontant l'orage
Penser, vivre et mourir en Roi.*

Он исполнил то, что писал: мыслил, жил и умер по-царски. Не забыл я взглянуть на изображение увенчанного Вольтера, сего своего нравного любимца короля, предмета зависти и любви его, сохраненной им до самой смерти, хотя писатель-деспот не всегда был ее достоин. В другой комнате видели мы любопытный альбом принцессы Шарлотты. Я хотел выписать из него несколько прекрасных строк, написанных нынешним королем дочери его, – хотел и не смел это сделать.

«Дворец низок и мал, – говорит русский путешественник, – но, взглянув на него, всякий назовет его прекрасным. В нем умел король соединить простоту с великолепием». Выйдя из дворца на гору, по зеленому бархату которой спускаешься в сад, перешел я, казалось, из храма изящных искусств и славы в храм прекрасной Природы. Какое разнообразие видов представляется вам с горы сей – и что ни вид, то картина! Смотрите, и не насытите зренья, восхищаетесь, и удовольствию вашему нет границ. Природа говорит здесь смертному: «Все это для тебя – наслаждайся! Преклоня колено перед моим могуществом, сознай-

ся, что все сокровища твои ничтожны в сравнении с моими богатствами, что ты, рассыпав груды золота, не превзойдешь меня никогда в щедрости». В саду взглянули мы на небольшие плиты, положенные в память любимых собак королевских: Биши, сопровождавшей его в походах и сражениях, и Дианы, известной по жирному письму к штетинскому ландрату Гибнеру. Мы пробежали персиковую аллею. Китайский и так называемый старый сад, Японский домик, расписанный по рисункам Лесера, прекрасные храмики, мостики – и поспешили в новый дворец, ибо день начинал уже вечереть. Сколько старый дворец похож на сельское, скромное убежище царя-мудреца, столько новый являет собой пышное, великолепное жилище монарха, окружавшего себя бесчисленными сокровищами природы и искусств. Немудрено: он устроил первый *для себя*, второй для глаз любопытных путешественников; в одном жил он, то есть наслаждался жизнью, как человек, – в другом хотел показать, что король прусский умеет жить *по-царски*. Картинная галерея в здешнем дворце богата произведениями

знаменитых художников. Достоинно замечания то, что Фредерик был сам порядочный живописец и хороший ценитель дарований. Входя в мраморную залу, видите целый Олимп над головой вашей. Собрание богов созвано сюда творческой кистью Ванлоо. Только мне странно показалось, что живописец представлял в числе их две Славы, несущие какое-то зеленое покрывало, ничего не означающее. Недоразумение мое разрешил придворный слуга, показывавший нам редкости дворца. «Надобно знать, – сказал он, – что знаменитый художник был великий льстец. Расписывая потолок, он представил на нем две Славы, держащие лавровые венки над вензелем Фредерика II. Король, увидев его работу при самом окончании ее, хотел в первом гневе своем приказать зачернить весь Олимп; но поразмыслив потом, что надобно будет снова расписывать потолок и снова платить деньги, велел он только закрыть свой вензель зеленым покрывалом – так, как вы теперь видите».

При входе в новый дворец с нами встретился человек небольшого роста, в кожаном

картузе, в одежде простого путешественника, не слишком щеголеватой. По наружности посчитал его за какого-нибудь небогатого русского дворянина; но по глубокому почтению, ему оказываемому генералом моим, и по червонцу, который сунул он провожавшему нас слуге, заключил я, что он должен быть что-нибудь более. Из Сансуси отправился он с нами в одной коляске: дорогой был очень весел, любезен и говорил с большим остроумием о происшествиях в Италии, откуда он теперь возвращался. Только в Потсдаме узнал я, что это был известный наш министр полиции Александр Дмитриевич Балашов.

Г. Дерпт, 9 марта

Живя здесь, воображаю, что не расставался с благословенной Германией: так сходен с обычаями и нравами ее жителей образ жизни дерптских обывателей. Порядок, чистота, трудолюбие, искусства и здесь достойны подражания. Приятно жить в городах Лифляндии и Эстляндии; приятно путешествовать от одного к другому – в городах здешних наслаждаешься всеми общественными удовольствиями; на дорогах (кроме дорог) имеешь все выгоды, какие может путешественник найти между народами образованными. Здесь особенно (в Дерпте) сосредоточены веселости и науки лифляндского края; здесь – можно сказать – сердце их. Тут не соскучится любитель большого света, ученый найдет для себя богатую пищу, ремесленник и художник не оскудеют; тут богатство сыщут множество предметов для приятного и полезного употребления своих источников, посредственность мо-

жет ограничиться своим кругом, где не позавидуют никому и никого не отвергнут; бедность будет принята, утешена и обласкана. Я провел несколько месяцев в Дерпте и не помню, чтобы где и когда-нибудь столько наслаждался жизнью. Никогда не забуду я ласк почтеннейшего генерала Кнорринга, украшающего свои седины умом основательным и добрым сердцем. Всегда помнить буду с удовольствием о вечерах, проведенных в здешних клубах (Благородном, Академическом и Мещанском), где всякий между своими веселится по-своему. Будет для меня иногда приятно воспоминание о веселостях, оживлявших так часто дом барона Левенштерна, – веселостях, с которыми сливались пышность, вкус и блеск шумного света Северной Пальмиры. Волшебной кистью перенесенный с одним из этих блистательных собраний в Альбомы,[35] надеюсь увидеть себя на туалете какой-нибудь милой московитянки – и тысячи предметов повторятся в душе моей, и много любезных мне особ отзовутся на ее голос. Дом графа Мантейфеля, графини Менден и Виллебуа будут для меня незабвенны по Грациям,

в них обитающим, – Грациям не числом, но прелестями. Забуду ли тебя, примерный Петерсон, оригинал добра и справедливости? Всегда с восторгом сердечным буду рассказывать, как ты, вооружившись громами Катонова красноречия, бросал их на врагов истины и добродетели; с невольным смехом прибавлю к сим рассказам осаду твоего дома новыми Титанами в образе здешних студентов, стук разбитых стекол, крик осаждающих, страх твоих домашних и, наконец, тебя самого под защитой двух перин!.. Вспомнив о тебе, вспомнишь о золотом веке, в котором истина, как говорят, ходила без покрывала и носила сердце на руке своей. Незабвенна будет для меня беседа, составленная мной для известного нашего литератора А. Ф. Воейкова, – беседа, в которой *дети Марсовы* угощали *по-своему* русского поэта. Зато как часто, как приятно угощал нас *по-своему же* Александр Федорович и на кафедре, на которой ходили его слушать наши генералы и простые офицеры, и в кругу его любимого почтенного семейства, где дарили нас ласками, приязнью, равнявшейся даже с красотой стихов самого Жуков-

ского (которого любят здесь и везде читают). Записан в сердце моем день, когда я узнал и этого скромного, несравненного Певца *нашего* – поэта, гению которого поклонялся я с самого малолетства? Отнесу дань воспоминания и тебе, прелестный вечер, мной учрежденный и данный генералом Полуектовым в здешней обсерватории, и наблюдения луны милыми обитательницами нашей планеты, и тихая; сладкая гармония, снисходившая будто бы с лучами ночного светила, из другого, дальнего, неизвестного нам мира, и восторг любезных гостей, и ясные умные суждения молодого профессора математики Штруве: все будет памятно сердцу моему, пока оно не перестанет биться.

Дерпт очень красивый городок. Он имеет порядочную площадь. Гранитный мост его через реку Эмбах, построенный по повелению императрицы Екатерины II и стоивший казне 60 000 рублей, может считаться одним из лучших его украшений. Здание университета величественно; оно стоит на древней городской площади, на которой была Шведская церковь. Прекрасна, живописна высота, обладающая

городом с ее обсерваторией в виде храма построенного, и с развалинами древней соборной церкви, в которой помещена ныне университетская библиотека, с большим вкусом и умением расположенная!

Выгодное положение Дерпта между Ригой и Петербургом, частое посещение его путешественниками, стечение в нем окружного дворянства, выгоняемого из деревень своих суровой зимой и привлекаемого в город различными веселостями, с которыми знакомит его соседняя столица; бывающая в январе ярмарка, куда сливаются богатства Петербурга, Москвы, Риги, Ревеля и Белоруссии и к которой удовольствия приглашают немцев и русских; наконец, украшающий его храм лифляндских и эстляндских муз, покровительствуемых великим монархом; все это делает Дерпт одним из приятнейших городов России.

Г. Дерпт, 12 марта

В пребывание мое здесь В. А. Жуковский и А. Ф. Воейков изъявили желание иметь историю города этого, достойного примечания по месту, занимаемому им в летописях наук и политики. Я трудился тогда над этой историей; но хотя и обещались эти знаменитые литераторы быть снисходительными, я не смел показать им трудов моих по робости, свойственной молодым писателям, не надеющимся на знания и способности свои. Предлагаю здесь небольшой отрывок вступления в историю города Дерпта и кратчайшую выписку из самой истории: заняв несколько страниц в моей записной книге, они не обременят ее.

...Историк одного города, действуя на такой тесной сцене, которой пределы не осмеливается ни распространить, ни перешагнуть, не менее того действует для пользы сограждан и заслуживает хоть небольшого и внимания. И у него являются Гении – хранители человечества, неизменная любовь и уважение народов; и у него встречаются сильные злодеи – мгновенное пугалище современ-

ных и вечная ненависть потомства! Пользуясь отчасти правом наставлять людей, он сверх того доставляет нам любопытные сведения об уголке земли, известном нам, может быть, по одному слуху; говорит о бурных и счастливых происшествиях, в нем случившихся и для нас еще новых, рассказывает нам о нравах и обычаях его жителей, нам совершенно незнакомых. Но возложением на себя обязанностей бытописателя, окружив себя источниками, в которых почерпнуть ему легче и способнее, нежели другим, от них более удаленных, он бросает, со своей стороны, свет на историю целой области и даже государства, prepares для нее материалы, очищенные разбором и трудом, и служит ей верным помощником в обширных и важных занятиях ее так же, как она служит помощницей Истории всемирной.

При начертании Истории Дерпта были мне путеводителями лифляндские летописцы, из которых наиболее следовал я Ленцу, уроженцу дерптскому. И кому мог я смелее довериться, как не бытописателю города, в стенах которого видел он колыбель свою, вы-

рос и получил счастливейшее образование ума и сердца?.. Истина всегда и повсюду возьмет дань, ей должную.

Дерпт занимал некогда в Истории достойнейшее и некоторыми периодами блестящее место. Основание его русским государем – основание, исполненное дальновидной мудрой политики; временное владычество этого города над Лифляндией, смелость, с которой он неоднократно предпринимал в войну с пограничными державами, связи его с Ганзою, гордившейся иметь его в союзе своем, и цветущее состояние его торговли, право иметь высшее судилище и бить собственную монету, народонаселение его во время епископского правления; твердость и великолепие его зданий, которых следы видны еще в развалинах и в основаниях их при построении новых домов; наконец, любимое в нем пристанище лифляндских и эстляндских Муз: все эти предметы заслуживают того, чтобы говорить о них согражданам своим: Они достойны пера Историка – хотя не такого, который великими подвигами на поприще словесности обратил уже на себя общее внимание, но по крайней

мере такого, который хочет на этом поприще испытать свои силы и, шествуя издали за исполином, приучать младенческие, робкие стопы свои шагать ему подобно.

В истории Дерпта видны также мрачные промежутки нескольких лет, в которые город этот представляет единственно груды пепла и совершенное опустение. Обладание им было предметом пяти сильных держав. Он выдержал четырнадцать осад и одиннадцать раз был взят приступом. Во время епископского правления чума опустошила его. Часто судьба его придавала новый блеск венцу государей; или омрачала счастливую звезду их; нередко увлекала она в сохранение своей участи соседние народы: так некоторые строения, от грозной скалы отделяющиеся, ускоряют ее падение, так присоединение нескольких камней утверждает прочность целого здания.

Краткая выписка из истории города Дерпта

Дерпт есть древнейший город в Лифляндии. Сама Рига должна уступать ему старшинство, 170 лет.

Ярослав, или Юрий Владимирович, великий князь Новгородский и Киевский, усмирив Лифляндию, сбросившую было с себя владычество русского венца по смерти Святого Владимира, заложил Дерпт в 1030 году, почему он получил название Юрьева, которое и ныне носит. Этим основанием желал, конечно, русский венценосец обеспечить предприятия свои на обладание целой Лифляндии и в соседних ей землях со временем более и более утверждаться. Политика Ярослава в этом случае ознаменовалась не одной силой; покоренная область видела в нем всегда своего благодетеля и справедливого мудрого судью. После него владычество русских князей над самым краем – владычество легкое и благотворное, не возмущаемое внутренними раздорами и внешними беспокойствами – сохранилось постоянно близ ста лет. За этим долговременным спокойствием последовали беспрепятственные возмущения, чему причинами были или новый образ правления новых владык, или дикие нравы жителей. Знамя бунта часто развевалось над стенами Дерпта. Крепости, наводнившие потом Лифляндию

для обращения язычников на путь истины, завоевали этот край. Основатель Риги, третий епископ Ливонский, отважный и прозорливый Альберт, овладев Дерптом, сделал его епископством и подарил ему в окружности земли. 29 епископов дерптских, из которых первый был Герман Апелдерен, а последний Герман Вейланд, в продолжение 314 лет возвели управляемый ими город на самую блестящую степень величия и богатства. Могуцеству Иоанна Васильевича предоставлено было сокрушить сей колосс, делавшийся опасным и для русского венца. Дерпт покорен последнему в 1553 году Петром Ивановичем Шуйским. Плененный в это время епископ Вейланд был отвезен в Москву, где кончил жизнь свою и прекратил собою существование епископства. В 1560 году последний орден-мейстер Готтар Кеттлер уступил свои владения королю польскому Сигизмунду Августу и принял светский сан с досточтимого герцога Курляндского и Лифляндского.

С тем кончилось правление ордена рыцарей меча. С этого времени казалось, что раздор бросил яблоко свое между тремя сильны-

ми державами. Эстляндия и Ревель находились уже давно во владении шведов, бывшее епископство Дерптское, с некоторыми другими округами, принадлежало еще России; вся остальная часть Лифляндии была во власти Польши. От этого разделения произошла кровопролитная и продолжительная война, успехи которой переходили из рук в руки, а последствием было опустошение земель, занимаемых переменными победителями.

В 1582 году Дерпт уступлен Россией Польше по договору, заключенному в деревне Киверогорск,[36] между Псковом и Пороховым. Густав Адольф, король Шведский, наследовав войну от отца своего, кончил ее завоеванием всей Лифляндии. Дерпт взят был приступом в 1625 году. Сей великий государь, соединявший в себе качества Героя и мудрого Правителя, приложил попечения свои о внутреннем благоденствии побежденных им земель. Скитт, бывший гофмейстер его, одаренный глубокой ученостью и редкими познаниями, назначен был генерал-губернатором Лифляндии.

Вера, правосудие, земледелие, торговля и

наука приведены им в цветущее состояние. Дерпт сделался средоточием власти судебной и просвещения целого края. В 1630 году Скиттс основал в этом городе гимназию, состоящую из восьми учителей, получивших впоследствии титул профессоров, из которых прославились познаниями своими Самсон в богословии, Гевелн в философии и Штруберг в физике.

В 1632 году училище это переименовано было в университет. Достойный наместник Лифляндии начертал оному план, а Густав Адольф утвердил и подписал его в Нюрнберге 30 июля того же года, посреди грома войны, которой он тогда занимался. 15 октября был университет торжественно освящен. Королева Христина, дочь Густава Адольфа, вопреки известной ее любви к наукам и старанию покровительствовать им не только мало излила милостей на это ученое заведение, но, побуждаема будучи непомерной роскошью, исчерпавшей государственные сокровища, продала земли, принадлежавшие университету. Впоследствии времени был он восстановлен наследниками ее и снова несколько раз уничто-

жаем до прочного, блистательного утверждения его императором Александром I.

В царствование Алексея Михайловича Дерпт увидел под стенами своими многочисленное войско русское, мужественное сопротивление не спасло его, и город сей в 1656 году вынужден был сдаться победителям. В 1661 же году тот самый царь в селении Кардис, поместье одного ревельского дворянина, заключил со Швецией мир, который уступал ей Дерпт со всем его округом. Явился Карл XII на кровавом горизонте Швеции, и за ним последовали все бедствия войны, ведомой не для охранения и блага подданных, но единственно из жажды завоеваний. Между тем как мнимый герой шумел сражениями своими в Саксонии, Петр Великий гремел победами в Лифляндии. Нарва и Дерпт были первые города, осажденные в 1704 году этим государем. Дерптский комендант полковник Скитте защищался целый месяц, но вынужден был наконец сдать город генералу Шереметеву. Хотя победоносный монарх при сдаче Дерпта возвратил ему все права, но, подозревая жителей его в измене и тайной переписке со Швецией,

приказал в 1708 году сослать большую их часть в глубину России, уничтожить укрепления и разрушить до основания некоторые здания. Политика требовала, может быть, этого от государя, знавшего, что Рига и большая часть Лифляндии принадлежали еще Швеции и что Карл содержал в Польше многочисленную армию. Поля полтавские не гремели еще славой русских – и Петр Великий не был уверен удержать за собой забранные в Лифляндии города. Ништедтский мир положил конец бедственному состоянию Дерпта. Назначено было укрепить город этот в царствование Екатерины II, над совершением чего и трудились уже с 1763 до 1767 года по плану фельдцейгместера Виллебуя. Один бастион был почти отделан, другие крепостные части заложены были. Но как многие окружные высоты обладают городом, то и нашли местоположение Дерпта невыгодным для крепости; повелено было прекратить начатые работы, а выполненные оставить на будущее время без внимания. Впоследствии отделанные укрепления подарены были университету государем Павлом I и назначены под различные

учебные заведения. Желание этого государя было восстановить университет. Рассмотрев представленный ему план по этому учебному заведению, он назначил сто лифляндских десятин на содержание его, 25 000 рублей на построение здания и под оное городскую площадь, на которой находилась прежде Шведская церковь. Лифляндское, эндляндское и курляндское дворянство обещалось в течение трех лет выдавать каждый год на построение университета 40 000 рублей. Но это была только заря счастья для дерптских муз, полдню его назначено было сиять при Александре. Первые шаги его на престоле ознаменованы были милостями к Дерпту. Его императорское величество повелел снарядить комиссию, которая должна была положить новое и совершеннейшее основание университету. Эта комиссия составлена была из особ, известных России своими познаниями и любовью к Отечеству. Между ними заседать призваны были два лифляндца: сенатор граф Мантейфель и тайный советник Фиттингоф. Представленный государю императору план ученому сему заведению был им благосклон-

но принят и утвержден в 1802 году. Между лучшими дарами, сделанными императорской фамилией, суть без сомнения прекрасный натуральный кабинет и библиотека, подаренные его высочеством цесаревичем Константином Павловичем. Этот пример возбудил многих частных особ к различным пожертвованиям, чрезмерно послужившим к украшению и увеличению университета. По печению профессора Пиротта кабинет физики приобрел многие драгоценности, но что более всего занимает, что приносит более славы этому ученому заведению, то это, без сомнения, Военный кабинет, над устройством которого трудился почтенный профессор тактики полковник Эйслер. Русскую кафедру украшает ныне А. Ф. Воейков.

Государь император, посещая Дерптский университет 22 мая 1802 года, сказал: «Я возьму здешних Муз под мое покровительство». Сказал и даровал университету Устав благодетельный и великий. Пускай Гений отечественный гордится им, поставив его на алтаре бессмертия.

Г. Дерпт, 25 марта

Изгнанник Наполеон ознаменовал бегством славное поприще жизни своей. Война зажгла уже свой пламенный свечник во Франции. Идем защищать права законного государя ее. Мы получили маршрут до Рейна; но каждый из воинов наших начертит его в сердце своем до самого Парижа. Нашу 2-ю гренадерскую дивизию ведет генерал Паскевич; с таким добрым и храбрым генералом все офицеры и солдаты умереть готовы.

Г. Вейстфальс, 16 июня

Неподалеку от Лютцена, близ самой большой дороги, к нему ведущей, стоит простой камень, окруженный несколькими тополями. «Здесь пал Густав Адольф», – сказал мне почтальон. «Стой!» – закричал я и с трепетом сердечным выскочил из коляски. Какой памятник означает место, где славной смертью кончил славную жизнь великий государь и великий человек? Простые плиты из грубого дикого камня, кое-как наломленные и обса-

женные пятью или шестью тополями! Два дерева срублены французами во время отступления их от Лепцига. И рука разрушения не дрогнула, прикасаясь к сей святыне!.. Мне кажется, Гении добра и славы стоят на страже у этого грубого монумента и препоручают его сохранение народам и векам. Памятник великому человеку есть сокровище, за которое настоящее время отвечает потомству. Нет казни довольно ужасной для извергов, разрушающих это священное наследство народов! Одна треугольная плита поставлена над прочими острейшим концом своим сверху: на ней изображены буквы G. A. а под ними: 1632 год. На одной неровной плите, лежащей на земле, начертана следующая надпись:

*Gustaw Adolph
KONNIG VON SCHWEDEN
frel hier
fur Geistes Freiheit
am 7 November 1632*

То есть:

*Густав Адольф, Король Шведский,
пал здесь за свободу веры 7 ноября 1632.*

Идя восстанавливать законного государя

на трон отцов его, российский император с прусским королем поклонились на сем месте Гению Великого Густава – и славный защитник истины и прав народных благословил их, конечно, на сей священный подвиг.

Мысль – дать и выиграть сражение на том поле, где пал Густав Адольф среди трофеев своих, – столько занимала и мучила Наполеона, что он, предугадывая Лютценское дело, не переставал окружающим его говорить, сколь славно будет победить неприятеля на этом месте. Исполнились ли эти мечты его или нет, известно последствиями Лютценской битвы.

Вот что говорит История о победе и смерти короля шведского.

Густав и Вальдштейн, вступив в 1632 году в Миснию, располагаются к сражению. Перед битвой герцог Саксен-Лауенбургский докладывает королю, что Гассион купил двух прекрасных лошадей, которых назначил: одну для победы над неприятелем, другую для преследования побежденных. «Почему не запасся он третьей для упорной битвы, которую обещает нам вид наших противников?» –

спросил Густав. В самом деле, начало сражения не предвещает успеха шведам. Король, видя их в ужасном беспорядке, слезает с лошади, останавливает бегущие полки, берет копьё в руки и говорит им, что если не удерживает их на посту чести память о совершенных ими подвигах; если, пройдя столько рек, взяв приступом столько городов и одержав над неприятелем столько побед, не одушевляются они желанием сохранить приобретенную ими славу, то пусть остановятся хотя для того, чтобы посмотреть, как он умирать будет. Эта речь, в которой соединены столь искусно хвала и упреки, увенчана совершенным успехом. Войско останавливается, устраивается, стремится снова к ужаснейшей войне; отправляют назад свою артиллерию, вторгаются в укрепления неприятеля и остаются победителями на месте сражения. Но победа эта слишком дорого куплена была шведами: виновник ее пал во время действия.

Казалось, король предчувствовал свой конец за несколько дней перед этим, когда народы, бросаясь к нему навстречу, изъявляли ему все знаки сердечного восторга, преданно-

сти и удивления. «Страшусь, – говорил он тогда, – чтобы Всевышний, оскорбленный их восклицаниями, не научил их слишком скоро, что тот, коего возносили они, как божество, был только ничтожный смертный».

О Густаве говорили, что он умер с мечом в руках, с командными словами на устах и с мыслью о победе. Он сам говорил, что счастлив тот, кто умирает, исполняя свое дело; он говорил и доказал это опытом славной смерти.

Великий Густав научил Европу искусству воевать; добродетели его соответствовали его дарованиям. Он уничтожил дуэли в шведских войсках строгим законом и строжайшим примером.

Эйзенах, 22 июня

«Есть ли у вас что-нибудь любопытное в городе?» – спросил я хозяйку свою, добрую и словоохотную старушку. «Как не быть!» – отвечала она мне голосом оскорбленного самолюбия и начала рассказывать о взрыве порохового парка, о замке Вартбург, о заточении в нем Мартина Лютера, о Рыцарском зале, о жизни длинноруких маркграфов, румяных и белоликих графов, близоруких князей и свирепых князьков, бывших некогда ужасом и трепетом соседних земель. Я слушал ее очень долго... Случалось ли вам, читая бредни Радклифа, утомившись подземельями, напугавшись гробами, мертвецами и привидениями, раскрыть вдруг книгу и, для оживления мыслей и сердца, приняться за Карамзина? Желая полюбоваться скорее красотами здешней природы, я сделал то же с хозяйкой моей, взялся за ручку двери и отворил уже ее; но моя Радклиф все еще преследовала меня по лестнице грозной тетей какого-то охрипшего в бранях витязя...

Первый попавшийся мне навстречу маль-

чик взялся проводить меня в замок Вартбург. Двенадцатилетнее дитя со всем красноречием старика рассказал мне жизнь Лютера. К чести немецкого просвещения должен я упомянуть, что в Германии дети, рожденные в низшем состоянии, не считают за грех учиться тому, чему учится сын или дочь дворянина. Каждый знает свою Библию, историю своей родины и своего отечества; сверх этих необходимых познаний знакомят их с приятными и полезными искусствами и науками. Природные дарования не умерщвляются грубыми, закоренелыми предрассудками; дороги умам проложены, и выбор предоставлен: остается идти по любому в храм славы. Оттого-то Германия так богата учеными, поэтами и философами, рожденными под тенью снопов и в бедных хижинах. Сам Вольтер, со всею придиричивостью своею, не мог бы здесь сказать:

*Peut-être qu'un Virgile, un Cicéron
sauvage
Est chantre de paroisse ou juge de
village.*

*(Кто знает? может быть, Виргилий, Цицерон
Кричат на крылосе или села в совет?)*

К чести здешних нравов должен я прибавить, что богатый и бедный, дворянин, купец, ремесленник и земледелец, учась вместе в одной народной школе, слушая одинаковые уроки и наставления, навывают к какому-то согласию мыслей и чувствований, к какому-то единодушию, которого ни время, ни различие состояний истребить не могут.

Тропинки ведут к замку Вартбург по крутой и возвышенной горе. У подошвы ее путник любуется рассыпанными на ней красивыми, разнообразными хижинами; выше лужайки манят его отдохнуть на бархатной своей зелени; в середине густые кустарники зовут его уклониться в тени моей от зноя солнечного; наконец иссеченная между огромными утесами дорога ведет его на гордую высоту, на которой останавливается он дивиться красотам природы и познает всю меру человеческой гордости. В самом деле, царская высота! Все низко и мало передо мной; кажет-

ся, вся округность лежит у ног моих и ждет моего веления!.. С горы, господствующей над многими другими, приятно смотреть на город, стелющийся в долине наподобие красивой деревеньки; приятно бродить взорами между дикими утесами с обнаженным челом или с увенчанным кустарниками – между утесами, возносящимися к небесам или над бездной нависнувшими; весело следовать за излучистой речкой по расписным лугам и остановиться наконец над черным отдаленным бором. «Видите ли влево два камня, похожие на женщину и мужчину?» – спросил меня старик, встретившийся со мной на середине горы. «Вижу только два камня, – отвечал я ему. – Но если вам угодно, чтобы я открыл глаза воображению, если нужно помечтать: то скажу вам, что усматриваю нечто сходное с человеческими фигурами». – «Прекрасно!» – воскликнул старик, пожимая с восхищением мою руку, и, желая наградить мою прозорливость, рассказал мне следующее старинное предание.[37]

Молодой и прекрасный, но бедного и невысокого происхождения житель Эйзенаха

имел соседкой своей девушку, одаренную всеми прелестями природы и милостями Фортуны. Любовь соединила два существа, созданные один для другого; но жестокость и предубеждения человеческие должны были их разлучить. Прекрасная таила страсть свою, таила и – наконец открыла отцу. «Мне унижить род мой?!» – воскликнул он со гневом и заточил дочь свою в монастырь. В соседстве монастыря этого был другой же, мужской; там верный любовник ее назначил себе краткое жилище и безвременную могилу. Но что преграды для любви всемогущей? Препятствия умножают только страсть – и сердитый поток, легкой плотиной удержанный, с большей яростью стремится разрывать ее. Тщетно старались несчастные усыпить страсть свою трудами и молитвами; напрасно призывали к себе на помощь долг и веру: любовь все превозмогала! В мрачной келье их присутствовала жестокая; она сопровождала их в аллее уединенной обители и не покидала у алтаря. Любовь пылала на устах монаха, когда он, встречаясь с прекрасной, посылал на нее милости небесные и дрожащей рукой давал ей

благословения; волнуемая любовью грудь монахини вырывалась из мрачного плена своего, когда она принимала эти благословения. Взоры их невольно встречались; сердца билась сильнее и выражались согласными вздохами. Наконец он нашел случай доставить ей следующую записку: «Нет сил преодолеть страсть мою: я должен тебя увидеть или погибнуть! С наступлением ночи, на ближнем от монастыря нашего утесе, ожидаю тебя. Загляни, прекрасная, в свое сердце, подумай и избери любое: назначенное для нашего свидания место или увидит меня счастливейшим из смертных, или будет моим гробом!» Чувствительная монахиня, прочитав записку, не забыла заглянуть в сердце и нашла в нем чувство, готовое на все жертвы; подумала также, что в случае отказа будет отвечать на том свете за смерть любезного ей человека, — и решилась с ним видаться. Мрак ночи, окинув окружность покровом своим, благоприветствовал свиданию любовников. Они были уже вместе... Вдруг налетела черная туча, блеснула молния... Смертный холод пробежал по всему их составу, уста оледенели, ды-

хание остановилось, сердца перестали биться... И любовники, пораженные гневом небесным, превратились в два камня! Вот они; смотрите пристальнее и признайтесь потом, что мы обладаем редким чудом». – «Образованным природой и стариками вашими dokonченным, – отвечал я повествователю. – Но признаюсь, что суеверию последних вы более обязаны, нежели могуществу первой». – «Быть может! Но басня эта составляет утешение и гордость здешних жителей». – «Грешно отнимать у них такое невинное утешение: дай Бог, чтобы все сказки доставляли столько удовольствия, сколько принесла до сего времени ваша! Дай Бог!» – повторил я и простился с добрым стариком.

Подойдемте к замку Вартбург. Достоин замечания колодезь, изрытый на вершине горы и свидетельствующий, что природа нигде не отказывает в помощи любимцу своему. Взойдемте в сам замок. Рыцарский зал, наполненный богатыми и тяжелыми латами, шишаками, забралами, мечами, панцирями и конскими сбруями, стоит того, чтобы в нем побывать. Какую гигантскую величину, какую

ужасную силу должны были иметь герои седой древности! Какой богатырь наших лет, хотя бы он был сам Лукин,[38] согласится пройти верст пять в их одежде!.. Что мы в сравнении с ними? Что будут правнуки наших правнуков?.. Другая зала убрана изображениями здешних владетельных князей с их нежными половинами; живопись достойна своего века! Но если куда любопытство сильнее увлекает, так это в комнаты, где жил и содержался Мартин Лютер после Вормского Сейма. Там показывают, как святыню, жесткое ложе, на котором он спал, стол и стулья, составлявшие скудельное украшение его тюрьмы. Все стены – даже в самых переходах – исписаны именами путешественников; глаза ищут места, на котором можно бы поместить несколько букв, и не находят. Надзирательница над замком показывала мне, между прочими редкостями, имя Петра Великого, латинскими буквами начертанное им самим во время его путешествия. Бессмертный Преобразователь своего народа хотел, конечно, почтить тем память умного Лютера. Рука времени почти изгладила черты этого

имени; но русский угадывает сердцем его остатки и лобызает с благоговением прах, его покрывающий.

В одном крыле замка есть трактир. В нем нашел я генерала моего с некоторыми офицерами его бригады и тучного, шутливого Ле, который во всем смысле отдыхал по трудах. Сочный неапольский лимон кипел с сахаром в английском пиве; Геба не могла бы изготовить для нас лучшего нектара; и я уверен, что ни один изнеженный сибарит так не роскошничал над кипрскими и аликантскими винами, как мы, утомленные нашим путешествием, роскошничали над чашей портера. Освежив силы наши, включив наши имена в книгу между множеством других знаменитых, славных, великих, малых и неизвестных имен, перебрав на столе разные древние книги, говорящие о военной науке и довольно любопытные, разглядев прилежнее висящий на стене портрет Лютера, простились мы с замком.

Сходя с горы, расскажу вам чудесный случай, происшедший в Эйзенахе в 1810 году в то бедственное 20-е число августа, когда целая

часть города поднялась на воздух от разрыва нескольких французских ящиков с порохом и чиненными ядрами, ехавших из Готы. Несчастья и жертвы дня сего бесчисленны.

Многие из жителей погибли в ужаснейших муках под развалинами своих домов. В одном из домов этих юная чета (адвокат Еттелт с новобрачной супругой своей) в забвении всех мирских превратностей наслаждалась счастьем любви беспечной; вдруг, в самую полночь, глухой подземный гром протекает под ними, земля колеблется, стены трещат, кровля рушится... им кажется, что вселенная повернулась на оси своей и что настал для них час страшного суда... Они теснее заключают друг друга в свои объятия, поднимаются на воздух и – безвредны падают на землю!.. Я повел бы скептика по развалинам домов и потом к чете счастливых любовников.

Довольно для Эйзенаха! Перо мое уже не пишет, а я перу повиноваться должен!..

Г. Фульда, 24 июня

Монастыри, расположенные на красивых высотах по дороге, ведущей к городу, служат, так сказать, предупреждением о том, что Фульда есть богатое епископство. Город порядочный! Около стен архипастырской обители есть прекрасный бульвар; на нем по вечерам гуляет множество народа обоего пола.

Здесьняя соборная церковь достойна примечания любопытного путешественника. Она основана в 744 году и вновь (менее ста лет) перестроена. Архитектура ее довольно великолепна. Внутри есть множество статуй, изображающих отцов церкви. Вонифатий, первый проповедник римский в этом краю, убитый неверующими кинжалом в голову, погребен в этой церкви. Это убийство представлено в ней же на алтаре, высеченном из дикого камня. Нельзя не удивляться хранящемуся здесь же изображению человеческого остова, так искусно из ломкого вещества сделанного, что обманывает совершенно знающих анатомию. Из чего же, подумаете вы, сделан он? Из одно-

го камня!.. Библиотека редкая и расположенная в большом порядке! В ней считают до 38 000 творений. Достоянейшие из них примечания: сочинения Вонифатия; рукопись Лютера, написанная в 1543 году, и другая Меленктона, означенная 1545 годом; Мабилionoво истолкование древних букв и чисел; жизнь Венедикта, писанная золотыми буквами в 1365 году; Библия на сирийском языке; Алкоран и законоположение императора Феодосия, ознаменованное существованием 1200 лет. В библиотеке есть также кабинет монет и медалей (Munts-Cabinet), в котором хранится до 4000 слепков, представляющих известнейших мужей.

Церковь Святого Михаила, стоящая близ соборной, славится древностью своей: она построена в 678 году. В ней находится точное подобие Гроба Господня. По левую сторону престола в стене есть квадратное отверстие, имеющее не более полутора аршин в диаметре, так что человек, только согнувшись, может в него влезть. Во внутренности, на левой стороне, могут четыре человека стоя поместиться. Большой дикий камень по правую

сторону занимает столько места, сколько требует тело человека.

20 июня

На прелестном пути от Франкфурта к Майнцу, не доезжая полмили до этого города, лежит между виноградными садами местечко, такими же садами славное. Оно венчает пригорок, с которого, как будто неусыпный страж, надзирает над плодоносной округностью. Скажите имя этого местечка старику, более полвека отжившему, – и кровь живет заструится вокруг его сердца, и взоры его блеснут огнем молодости. Гохгейм на устах ваших. Так, вы отгадали. Быть в нем и не пить вина его имени – все равно что быть в Риме и не целовать папских туфель!.. Пользуясь правом кошелька, я потребовал у богатого хозяина моего бутылку десятилетнего гохгейма. Филемон приметно испугался моего требования, отговаривался невозможностью найти такого древнего вина и за золотые горы, торговался со мной, не о деньгах, но о летах, и – наконец принес прекрасное дитя Гохгейма, пять лет воспитываемое в простран-

ном его погребу.

Гохгеймское вино почитается лучшим из всех белых вин, производимых богатыми виноградниками берегов Рейна. Его не иначе пьют в Германии, как из рюмок среднего разбора, темнейшего зеленого стекла. Мы, русские (нас было трое военных товарищей), наполнили им прадедовский бокал и, в честь павших на полях славы друзей, осушили его до дна. Воображение заискрилось, сердца заговорили – и мы из Гохгейма перенеслись на поля прежних битв, на пепелище нашей родины, в белокаменную столицу, в шумной рой тамошних красавиц; потужили, погоревали; но дети Марсовы тужат недолго! Мы возвратились скоро в Гохгейм на свежую солому, чтобы уснуть в сладкой надежде увидеть завтра Героя времен прошедших и потомства.

Майнц, 30 июня

Выехав из Гохгейма, вы спускаетесь по при-
ятной отлогости. Направо и налево стелют-
ся по разнообразным пригоркам виноградни-
ки; впереди чернеются, над красными кров-
лями, высокие шпицы церковей Майнца, а за
ним в виде амфитеатра возвышаются его
укрепления. Вот и сам город! Он смотрится в
Рейн и с противоположного берега смеется,
кажется, бурям военным, покоясь на лоне
столь величественного защитника. Отец мно-
гих богатых рек Германии, доньше верный
хранитель границ между двумя сильными
царствами, Рейн течет здесь со всей гордо-
стью своего имени. Здесь Майнц соединяет-
ся с ним и образует укрепленный остров.
Несколько плавучих мельниц пестреются на
нем и сливают шум колес с шумом его тече-
ния. Длинный мост на судах соединяет оба бе-
рега.

Майнц, с одной стороны огражденный ре-
ками, с других сторон укреплениями, над ко-
торыми трудилось искусство веков с помо-
щью щедрой природы, могущий вместить в

себе многолюдный гарнизон, считается сильнейшей крепостью в сердце Европы. Он известен также тем, что пустил в свет двух сынов разного свойства: один распространил ужас на всю землю, вручив честолюбцам новое и сильнейшее орудие истреблять людей; а другой озарил науки новыми лучами просвещения и сохранил навсегда для благодарного потомства произведения великих умов. Я говорю о порохе и книгопечатании, изобретенных в этом городе в четырнадцатом и пятнадцатом столетиях.

Город сам по себе – как и все укрепленные города – пуст, уныл и мрачен. Тщетно будете спрашивать здесь об успехах торговли, искусств и художеств; напрасно станете искать следы мирных забав и удовольствий: они вытеснены отсюда навсегда! Здесь владычествует один Бог войны – и кто не служит под его знаменами, кто для него не трудится, тот верный изгнанник из Майнца. На площади (против древнего дворца), окруженной деревьями, зовущими, кажется, влюбленные пары или мирного певца укрыться в густоте их от городской скуки, увидите важно движущиеся

ряды австрийских гренадер с грозными усами или кипящие рои стрелков прусских. На главных улицах солдаты, на берегу солдаты, и в прекрасных домах они же! Можно сказать, что Майнц есть не что иное, как очень красивые, обширные *казематы*.

Человек великий украшает ныне Майнц своим присутствием. Смиренный в своем величии, скромный в славе своей, гордый одним именем воина защитника отечества; не унывавший никогда в потерях, не возносившийся от бранных успехов; искусный и храбрый, хотя не всегда счастливый полководец; благоразумный тактик и писатель; сотрудник Суворова, но не всегда верный ему помощник; герой всех времен и народов; любовь общая и слава Австрии одним словом, это эрцгерцог Карл! Ему поручена ныне осада всех французских крепостей, лежащих на берегу Рейна; слишком скромное поручение! Но брат императора, видя в нем пользу общему делу, посвятил этой пользе здоровье, труды, неусыпные попечения и дарования свои. Майнц избрал он своим лагерем и местом надзора над движениями французских гарни-

зонов и облегающими их союзными войсками. Строгостью дисциплины, порядком и добротой души заставляет он как своих, так и чужеземных солдат и жителей любить себя до привязанности и уважать до преданности. Спросите о нем у русского, австрийца, пруссак, баварца – и все с равным восхищением будут о нем отзываться. Позавидуйте мне, друзья мои: я его видел, я с *ним* говорил!

В шесть часов утра готов он был выехать навстречу нашей гренадер-егерской бригаде и прекрасной батареей роты полковника Нилуса, при ней находящейся. Извещен будучи начальником этих войск генерал-майором Полуектовым, что полки и рота ожидают его прибытия на этом берегу Рейна, он с небольшой свитой к ним прибыл. Сердца солдат угадали, что он им не чужеземный по деяниям своим; они слышали от своих офицеров, что он бывал в походах с Суворовым, – и встретили его громогласным «Ура!». «В какой губернии стояли эти войска и когда вышли они из мест своего расположения?» – спросил он, узнав, что они расположены были под Петербургом и выступили из квартир своих в

конце марта во время половодья. «В три месяца из-под Петербурга на Рейн! Совершенно по-суворовски! – сказал он и прибавил: – Люди так свежи, так живы и здоровы, как будто выступают ныне в поход! Немудрено: воспитанникам Севера и ученикам бессмертного полководца все возможно!» Когда войска проходили мимо него церемониальным маршем, он сказал генералу моему: «Я имел честь командовать некогда храбрыми русскими солдатами; ожидал ныне этого счастья: но судьба и люди иначе расположили!..» Самый лестный отзыв, самая лучшая похвала нашим северным героям в устах истинно великого человека. Он пригласил начальников и несколько офицеров к столу. Он обедает очень рано, не по-придворному, а по-солдатски. Говорят, что он имел некогда у себя *table ronde*, наподобие столов рыцарских времен; свобода и равенство при нем присутствовали. Вблизи я успел лучше рассмотреть эрцгерцога. Он малого роста, худой, сухощавый; одевается просто; лицо у него очень приятное; глаза его блестят огнем ума; какая-то восхитительная улыбка покоится на устах его, особен-

но когда он говорит. Все окружающее его оживлено, кажется, его душой; весь двор его носит на себе признаки его любезности. Он сам занимался военными гостями своими, как ласковый, хлебосольный русский помещик; каждому офицеру сказал несколько слов, каждого обворожил этими словами.

Присутствие великого человека есть лучшая школа нравов. Советовал бы я надутому вельможе, величающемуся пергаментами своими, и гордому честолюбцу побывать у него: они вышли бы от него добрее, умнее и смиреннее. Взирая на него, невольно скажешь: скромность есть печать истинного величия. Посмотрите на эрцгерцога Карла в кругу его; взгляните ни него в его творениях; [39] последуйте за ним в пыль сражений. Там бьет он гордость; тут учит побеждать врагов, не скрывая собственных ошибок; здесь побеждает их – везде он герой истинный, везде он человек великий!

Лагерь близ Вертю, у деревни Вилье, 31 августа

Провидение, столь ясно ознаменовавшее себя во всех происшествиях нынешней войны, хотело, кажется, наложить печать чудесного и на некоторые места этих знаменитых событий. Новейшие происшествия представляют тому разительные свидетельства. Близ прекрасного Союза (*la belle Alliance*) соединились силы двух держав, подали друг другу руки два героя (Веллингтон и Блюхер), чтобы сокрушить у гидры властолюбия последнюю главу ее. На равнинах Добродетели (*Vertus*) могущество России праздновало торжество свое перед взорами целой Европы. На горе Любимой (*Mont-Aimé*) Любимец Небес угощал своих союзников зрелищем этого могущества. И где же, как не на полях этих, приличнее Кротости и Благости в венце собирать дань удивления и уважения с сильнейших владык земных?

Никогда Шампания не представляла зрелища, какого в нынешние дни она свидетельница. 24-го нынешнего месяца 165 тысяч рус-

ских воинов расположили в ней свой стан. На ровном, как пол, пространстве нескольких верст белеются шатры их в нескольких рядах, блестят орудия и дымятся костры бесчисленные. Веселье и довольство царствуют в этом стане.

После трехдневного отдыха войска начали готовиться к смотру. 26-го числа назначен был опыт смотра сего. Ожидали к нему одного фельдмаршала Баркляя-де-Толли; но когда полки и артиллерия построились в каре, государь император нечаянно обрадовал их своим присутствием. Его величество встречен и сопровождается был радостным «Ура!», этим верным отголоском побед и любви русских воинов к царю своему. Движениями войск государь был очень доволен – прекрасный опыт ручался за прекраснейшее исполнение в глазах знаменитых зрителей.

Поля Вертю как будто нарочно образованы природой для смотра многочисленной армии. Расстилаясь с одной стороны на несколько верст гладкой равниной, на которой не мелькает ни одного куста, ни одного скромного ручейка, представляют они с другой стороны

остроконечный холм, с которого взор может в один миг обозреть все обширное пространство их.

29-го происходил сам смотр. Первые монархи мира (вместо некоторых из них представители их), первые полководцы нашего века прибыли на поля Шампани быть зрителями и вместе ценителями могущества России. Они увидели в день этот, на какой степени должна стать между государствами сия царица Севера, чего могут страшиться от сил ее и надеяться от известной правоты ее и миролюбия; они увидели, что ни многолетние войны, ни чрезвычайные средства, употребленные Россией для сокрушения колосса, возвысившегося на могуществе нескольких держав, не могли истощить силы ее; они узрели ныне оные в новом блеске и величии – и принесли ей на весы Политики дань изумления и уважения.

В 6 часов утра 163 тысяч русского войска прибыли на равнины Вертю и стали в нескольких линиях в боевом порядке. Монархи и сопровождавшие их полководцы различных держав прибыли вскоре на гору Монт-

Эме. В рядах все было слух, тишина и неподвижность; все было одно тело, одна душа! Казалось в эти минуты, что войска были сплочены в неподвижные стены. Начальник и рядовой ожидали удара вестовой пушки (по которой должны были исполняться все маневры). Задымился холм; перун грянул – и все пришло в движение. Музыка, барабаны и трубы загремели во всех линиях, развевавшиеся знамена преклонены долу, и тысячи рук одним мановением отдали честь государям. Вскоре все войско претворилось снова в тишину и неподвижность. Но вестовой перун вновь раздался – и все восколебалось. Линии начали делиться; отрывки их потекли по разным направлениям; пехота и тяжелые орудия ее шли скорым шагом; конница и летучая ее артиллерия неслись, казалось, на крыльях ветра. В несколько минут с разных пунктов на пространстве нескольких верст войска прибыли все вместе на места назначения своего и образовали вдруг неподвижный, пространный каре, которого передний, правый и левый фасы составляла вся пехота, а задний вся кавалерия (несколько отдельно от пехо-

ты). В это время государи съехали с горы и при громогласном «Ура!» объехали весь каре. Потом стали они на месте, удобном для обозрения полков, готовящихся к церемониальному маршу. Войска, построившись в густые колонны, составляя их из двух батальонов рядом, имея за каждой бригадой свою артиллерию – вся пехота прежде, а потом вся конница, – прошли таким образом мимо государей. Порядок и блеск шествия этого многочисленного войска изумили иностранцев тем более, что в его числе не была и гвардия, эта лучшая, самая блестящая часть русской армии. Наши гренадеры имели счастье заменить в этот день царских телохранителей и совершенно оправдали общие надежды. Австрийский император проехал мимо государя впереди гренадерского полка своего имени (бывшего Кегсгольмского), а прусский король вел гренадерский полк, имеющий честь носить его (что прежде был С.-Петербургский). Великие князья: Николай Павлович начальствовал одной бригадой в 3-й гренадерской дивизии; Михаил Павлович командовал пятью ротами конной артиллерии. Церемониальный

марш продолжался несколько часов. По окончании его войска составили колонны – каждая дивизия и кавалерийский полк особую, на тех местах, где они стояли правыми флангами своими в боевом порядке; а государи отправились снова на гору Монт-Эме. Потом армия построилась налево. Смотр кончился беглым огнем из 160 тысяч ружей и 600 орудий. Можно вообразить об ужасном громе, ими произведенном. Казалось, земля раздираема была на части и вся окрестность стонала.

Фельдмаршалы Веллингтон, Шварценберг, Вреде и Блюхер со многими другими знаменитыми полководцами различных держав присутствовали при этом смотре. Между ними было и несколько французских генералов, в числе которых заметил я барона Дамаса, бывшего начальника Астраханского гренадерского полка. Среди сынов Марсовых любопытно было видеть и любимиц Граций, прибывших из Туманного Альбиона на равнины Шампани любоваться военным зрелищем.

Нельзя не упомянуть здесь о прекрасной черте скромности великого князя Николая Павловича. Приехав накануне смотра в наш

лагерь для выбора себе бригады, он не хотел принять от корпусного начальника, генерала Ермолова, почести, должные брату российского императора, и на все изъявления оных повторял несколько раз: «Я только бригадный командир и помню мои обязанности». Его высочество явился под начальство генерала, как следует подчиненному, и до тех пор не хотел накрыться шляпой, пока этот сам не надел ее.

День тезоименитства возлюбленного государя был ознаменован новым блестящим парадом. Шесть каре были расположены в долине[40] близ Вертю, седьмой на отлогости горы. Первые составляли пехота, артиллеристы и спешенная конница; последний – наши две гренадерские дивизии с их артиллеристами. Среди каждого из каре находилась церковная палатка, в которой отправляемо было богослужение. Монархи и полководцы различных держав присутствовали при оном в нашем каре. Великолепное сияние утреннего солнца, придававшего этому необыкновенному зрелищу новые красоты; блестящий сонм героев; стройность и величество священнослужения; благоговение первых государей мира, повер-

гающих свое величие перед алтарем Царя Царей; все наполняло душу сладким, неизъяснимым восторгом; все горе возносило ее!..

Ныне государь император приезжал в наш лагерь прощаться с гренадерами. Его величество благодарил начальников, офицеров и солдат за усердие в поддержании их славы перед взорами знаменитых зрителей и доброго имени в землях чуждых – благодарил небольшой речью, но в таких выражениях, которые, говоря душе каждого, возвышали ее. Нынешний день гренадеры наши возросли еще более благородной гордостью.

Завтра шатры исчезнут на равнинах Вертю; простимся с полями Шампани – и, сопровождаемые уважением народов, направим путь свой к родным хижинам, которых

...и дым нам кажется приятен!

Веймар, 12 октября

Не любопытство видеть Афины Германии, Ротенбург Виланда, Гете и других знаменитых писателей, но желание принести дань преданности великой княгине Марии Павловне влекло нас в Веймар. Генерал Полуектов, пользуясь днем отдыха, назначенным его карабинерной бригаде, отправился со мной 10-го из Эрфурта. Того же дня вечером приехали мы сюда и остановились в гостинице под вывеской «Наследный принц» (Hotel du Prince Nérétaire). Рядом с нами остановился русский Леонид, граф Остерман-Толстой. С ним была и супруга его.

11-го поутру отправились мы пешком во дворец. На пути к нему перегнала нас четырехместная дорожная карета – в ней сидела великая княгиня Екатерина Павловна, захватившая сюда мимоездом для свидания с сестрой. Свита ее состояла из одной штатс-дамы и гофмаршала ее князя Гагарина. В приемной комнате великая княгиня Мария Павловна не заставила нас долго ожидать себя. Какая ангельская кротость на лице ее изображена! Ка-

кое милостивое обращение с окружающими ее! Особенно русским показывает она отличное внимание и как будто ищет для каждого из них сделать двор свой любезным и приятным, как будто старается благосклонностью своей окружить их благами драгоценной родины. Поговорив некоторое время с генералом моим, ее высочество изволила подойти ко мне и расспрашивала меня о службе моей, о прежних начальниках, о месте моего рождения. Слушая ее, мне казалось, что небожительница удостоила меня беседой. В это время вошла и великая княгиня Екатерина Павловна. В простоте дорожной одежды казалась она еще прекраснее. Сказав несколько слов генералам, ее высочество не забыла бросить милостивый взор и на русского офицера: сама первая поклонилась ему и сказала несколько лестных слов. Подобный мне бедный, неизвестный воин готов был сквозь мечи пробиться, чтобы достигнуть до такой чести; а меня судьба так легко награждала ею!.. Как не благодарить мне судьбу сию!

Здесь оживился в моем сердце 1813 год, когда брань кипела и, в ярости своей, повергала

тысячи жертв на одры болезни и смерти. Тогда, в образе великих княгинь, любовь и надежда посещали обитатели скорби и страданий, утешали словами печальных воинов, помогали бедным, облегчали для них тяжкий переход из сей жизни в другую и ангельской улыбкой умилоствовали самую смерть. Кто из раненых воинов, в Теплице лечившихся, не видал их у одра своего, не может похвалиться какой-либо нежной о них заботой великих княгинь? Кто из защитников Отечества и прав народных не испытал на себе благодеяний их высочеств и не чтит их в душе своей Ангелами-Хранителями человечества? Закипела новая брань – и оживленные этими благодеяниями воины потекли на смерть или к победе с именами Марии и Екатерины!

По случаю раннего отъезда великой княгини Екатерины Павловны вместо обеденного стола при дворе назначен был завтрак, к которому именем ее высочества наследной принцессы пригласили генерала Полуектова и меня. Екатерина Павловна была чрезвычайно весела до завтрака и после него; сама взяла руку старой герцогини и повела ее к столу;

отвечала иногда немцам по-русски и ангельской живостью своей воодушевляла весь двор. За столом имел я счастье сидеть очень близко, напротив великих княгинь, – счастье, которое равняло меня в душе моей с первыми богачами и счастливцами света. Как скоро Екатерина Павловна стала готовиться к отъезду, веселье спорхнуло с лица ее и дало место кроткому унынию. Прощание венценосных сестер было трогательно: Одна отпускала друга в милое, драгоценное Отечество, которому нет нигде замены; другая расставалась с нежной сестрой, оставляя ее хотя среди нового семейства ее, но все на земле чуждой, не у сердца матери, не в кругу нежных братьев. Великие княгини, проливая слезы, обняли друг дружку в последний раз у дверей кареты; горестное «прости» было сказано – и стук колес экипажа исчез на пространстве дворцовой площади. Казалось, у всех зрителей этого трогательного прощания навернулись на глаза слезы.

Вечером были мы приглашены от наследной принцессы в театр и к ужину. Нося в сердце своем новое сильнейшее чувство пре-

данности к царскому дому, столько богатому милостью и любовью к верноподданным своим; не жалея, что не успели видеть веймарских ученых, сейчас отправляемся мы отсюда в Кюзень...

Примечания

Государь император излил щедроты свои на многочисленное семейство Энгельгарда. 1820.

[^^^]

2

Имеется в виду Иссак НЬютон. – *Прим. ред.*

[^^^]

3

До 1918 г. город по-русски называли Вильна,
ныне – Вильнюс. – Прим. ред.

[^^^]

4

Прекрасный предмет для картины!

[^^^]

5

Автор имел счастье видеть заложение сего храма в Москве 12 октября 1817 года.

[^^^]

6

Речь идет о Йоханнесбурге (нем. Johannesburg). – Прим. ред.

[^^^]

Упоминаю о французском языке для тех, кто считает его за главное достоинство образованного человека.

[^^^]

Перевод Сюара. Самое испорченное состояние общества находится там, где люди потеряли свою независимость и простоту первобытных нравов, не достигнув еще той степени образованности, на которой чувства правосудия и чести служат уздой страстям неистовым и жестоким/Картина состояния Европы. Т. I. С. 27.

[^^^]

Он был опустошен наводнением. С того времени река Варта, на которой он стоит, взяла другое течение.

[^^^]

С окончанием войны все переменилось. Варшава процветает ныне под благодетельным владычеством российского монарха. 1820.

[^^^]

Правительство наше, пекущееся о выгодах и благе каждого и всех, препорученных Судьбой его отеческим попечениям, занялось уже созданием прекраснейшего шоссе от новой столицы до древней. Подвиг великий и многотрудный; но тем славнее будет его исполнение; тем знаменитейший будет памятник народного величия и царской благости! Автор имел уже удовольствие ехать близ ста верст по этому шоссе, удобностью своей и красотой превосходящем даже немецкие.

[^^^]

Автор имеет в виду паяца (от *итал.* Pagliaccio – «шут», «паяц»). – *Прим. ред.*

[^^^]

При списывании этих записок я поместил теперь могилу графа Пушкина, ибо отрывок, в котором описана смерть его, потерян вместе с другими.

[^^^]

Или Батюшкова.

[^^^]

1 старорусская миля равна 7 верстам. – *Прим.
ред.*

[^^^]

За этим недостает следующих записок: 1. Присяга волонтеров в Кюстрове, описание Росточка, завтрак со шведским генералом на корабле «Елена»; 2. Бани морские в Добранте, вид моря; и 3. Праздник, казакам данный Мекленбургским двором, торжество победы, под Лютценом одержанной, изюмские гусары на бале и прощание с жителями Лудвигслуста.

[^^^]

Отрывок этот сочинен в виде небольшой речи, которая должна была прочтена быть в кругу военном.

[^^^]

Князь Смоленский умер в Шлезском городе
Бунцлау 16 апреля.

[^^^]

Берлин застали мы в таком точно положении, как была Москва за неделю до вступления в нее неприятеля. 12 мая французы находились только за три мили от города. Благодаря разумным распоряжениям кронпринца Шведского и храбрости его войск столица Пруссии одолжена своим спасением.

[^^^]

Этот случай доставил мне удовольствие испытать всю меру немецкой честности, которая должна бы войти в пословицу. На вторичном походе нашем во Францию 1815 года заезжал я в Мускау и получил от почтмейстера *все мои вещи в целости!* Такая беспримерная черта честности тем более меня удивила, что немец не мог и вообразать о нашем возвращении когда-либо в его края.

[^^^]

Первое между партизанами место, без сомнения, занимает Фигнер.

[^^^]

Анекдот сей рассказан мне Паулиным, поручиком 14-го Егерского полка, ныне подполковником Л. Г. Гренадерского и адъютантом графа Остермана-Толстого.

[^^^]

Сообщено полковником Жемчужниковым и описано уже правдивым и достойным беспристрастной хвалы пером Ахшарумова. 1820.

[^^^]

После этого пожара он перенес офицера в дом профессора Горюшкина.

[^^^]

Сам Франк рассказывал мне о чудесном избавлении своем. Рядовой Ишутин переведен был впоследствии времени в Гренадерский графа Аракчеева полк.

[^^^]

Или лучшим из человекoв (*фр.* Le meilleur des hommes).

[^^^]

На высоте, за деревней Рекнитц.

[^^^]

Корпус Вандама был 40-тысячный.

[^^^]

Находившись адъютантом при графе А. И. Остермане-Толстом, я имел нередко случай внимать искренним выражениям глубокого уважения и признательности, хранимых им к королю прусскому. Не довольно было ему содержать образ его величества в душе своей: он пожелал иметь этот образ перед глазами своими – и знаменитый Торвалдсен, одушевив резцом своим холодный мрамор, исполнил его желание. Бюсты короля и королевы Луизы работы этого славного художника украшают ныне дом его сиятельства в Петербурге. 1820.

[^^^]

От лица благодарной Богемии, за спасение ее от врагов, был прислан в 1816 году герою новых Фермопил осыпанный драгоценными камнями золотой сосуд, который отослан им в дар Лейб-гвардии Преображенскому полку при скромном донесении государю императору об этом пожертвовании. На этот случай его величество отвечал ему Рескриптом А, исполненным лестными для вождя выражениями, и препроводил к нему драгоценную по многим отношениям вазу с изображением его в день Кульмской битвы. 1820.

[^^^]

Тот же самый Жемчужников отличился блистательным подвигом в деле под Арси (sur Aube), подкрепив баварцев при деревне Торси (le grand), за что награжден знаком отличия Святого Георгия четвертой степени.

[^^^]

Имя этого несчастливца узнал я из разных документов и писем, доставшихся мне после дела с записной книжкой его. Некоторые из этих бумаг довольно интересны по содержанию своему и подписям разных особ, занимающих важные места во Франции.

[^^^]

Тюльери (*фр. Tuileries*) – устаревшая русская передача; ныне Тюильри; дворец французских королей в центре Парижа. – *Прим. ред.*

[^^^]

Окончание куплета не помню.

[^^^]

В одном из маскарадов Ловенштерна по одному случаю был я одет чертом, уносящим Купидона (*que le diable importe l'amour!*) Эта маска подала повод сыну барона Лев. поместить меня в этом виде среди главных лиц маскарада в одном Альбоме, который в самом деле очутился потом в Москве.

[^^^]

Так называет ее Ленц. См. начертание его «Истории города Дерпта», посвященное государю императору.

[^^^]

Это самое предание дало повод Виланду написать очень приятную поэму. Примечание это принадлежит почтеннейшему издателю «Вестника Европы». При этом считаю долгом сказать, что существованием этой книги обязан я М. Т. Каченовскому: дав место моим походным запискам в составляемом им журнале, столько известном, он ободрил меня к изданию их в свет.

[^^^]

Морской офицер, известный своей силой.

[^^^]

Он писал о стратегии.

[^^^]

40

Только не в той, в которой происходил смотр войскам.

[^^^]